

Мария Андреевна Бекетова

Шахматово. Семейная хроника



Мария Бекетова

Шахматово. Семейная хроника

«Public Domain»

1930

Бекетова М. А.

Шахматово. Семейная хроника / М. А. Бекетова — «Public Domain», 1930

«Шахматово сыграло большую роль в истории и развития творчества Блока. И, конечно, не одно только Шахматове, а весь уклад той семьи, которая проводила в нем лето многие годы подряд. На месте уютной шахматовской усадьбы теперь зеленая заросль, нет ни дома, ни служб, ни того флигеля, где жил когда-то Блок-ребенок, а позднее юный поэт со своей женой. Куртины розового шиповника на широком дворе слились с кустами алых прованских роз, окружавших флигель, – сад, примыкавший к дому, заглох, и старые липы уже начинают рубить. Многих из обитателей и посетителей бывшего поместья Бекетовых уже нет на свете. Сама я не была там с 1917 года, но знаю о постепенном его разорении от моих племянников Кублицких, которые время от времени посещают Шахматово и сообщают мне все новости об этом уголке, столь любимом когда-то Блоком...»

© Бекетова М. А., 1930

© Public Domain, 1930

Содержание

Предисловие	5
Вступление	6
Глава I	7
Глава II	13
Глава III	22
Глава IV	36
Конец ознакомительного фрагмента.	39

Мария Андреевна Бекетова

Шахматово. Семейная хроника

Предисловие

Шахматово сыграло большую роль в истории и развития творчества Блока. И, конечно, не одно только Шахматово, а весь уклад той семьи, которая проводила в нем лето многие годы подряд. На месте уютной шахматовской усадьбы теперь зеленая заросль, нет ни дома, ни служб, ни того флигеля, где жил когда-то Блок-ребенок, а позднее юный поэт со своей женой. Куртины розового шиповника на широком дворе слились с кустами алых прованских роз, окружавших флигель, – сад, примыкавший к дому, заглох, и старые липы уже начинают рубить. Многих из обитателей и посетителей бывшего поместья Бекетовых уже нет на свете. Сама я не была там с 1917 года, но знаю о постепенном его разорении от моих племянников Кублицких, которые время от времени посещают Шахматово и сообщают мне все новости об этом уголке, столь любимом когда-то Блоком.

Теперь уже Шахматово с его прошлым становится легендой. Вот это-то прошлое и хочу я восстановить во всей его жизненной правде, отразив окружение Блока, которое способствовало развитию его таланта. Я начну свой рассказ с той поры, когда Шахматово стало достоянием семьи Бекетовых, за пять лет до появления на свет будущего поэта.

Вступление

Шахматово куплено моим отцом А. Н. Бекетовым в 1875 году¹. То было время назревающего балканского вопроса. Русские добровольцы стремились на Балканы за генералом Черняевым. Достоевский был занят «Дневником писателя» и тоже балканским вопросом, Толстой печатал в «Русском Вестнике» «Анну Каренину». Тургенев царствовал в «Вестнике Европы». «Отечественные записки» с жадностью читались либералами и народниками. Главным образом поглощались щедринские очерки, с упоением расшифровывался знаменитый эзоповский язык, повторялись словечки... Тургенева многие предпочитали даже Толстому и Достоевскому. То было время передвижных выставок и направленства во всех искусствах, не исключая и музыки.

¹ Шахматово было куплено осенью 1874 г., а лето 1875 г. – первый сезон, проведенный Бекетовыми в имении (см.: Станислав Лесневский. Путь, открытый взорам. М., с. 29–30).

Глава I

Сестры Бекетовы

*В те дни под петербургским небом
Живет дворянская семья...*

(А. Блок. «Возмездие»)

Состав семьи Бекетовых, дух которой великолепно схвачен в «Возмездии», фактически рознился от того, что представлено в поэме. «В семье не чопорно росли» не три, а четыре дочери. Четырех трудно бы было втиснуть в ямбы. Старшая – Катя (Екатерина Андреевна), будущая писательница, умерла, когда поэту было 11 лет, от нее остался у него в памяти бледный облик, не попавший в поэму. Вторая – Соня (Софья Андреевна) попала в старшие сестры, третья – Ася или Аля (будущая мать поэта, Александра Андреевна) превратилась в меньшую, а четвертая – Маня или Маля (Мария Андреевна), автор этой книги, оказалась старше предыдущей Аси.

Последнее, т. е. перестановка двух младших сестер, имело полное основание, так как и в детские, и в молодые годы я часто играла роль старшей сестры для Аси. Я была солиднее, выдержаннее, серьезнее, а она сорванец и всеобщий баловень. Характеристики трех сестёр в общем очень верны, но вот как было на самом деле.

Четыре сестры Бекетовых составляли две неразлучные пары. В первой были Катя и Соня, во второй Ася и Маня. Каждая пара являла собой два разных типа, связанных дружбой. Катя и Ася были живые, кокетливые, откровенные девушки с ярко выраженной индивидуальностью и склонностью к деспотизму или, по меньшей мере, к преобладанию. Обе, не стесняясь, говорили о своих увлечениях и неудержимо стремились к завоеванию жизни. Ася, с более сильным темпераментом, была непосредственнее, добрее и ласковее Кати. Мы с Соней были менее горячи, менее ярки, но более постоянны, глубоки и скромны. Роман-тичны были все четыре. Я соприкасалась с Катей своей любознательностью и склонностью к точному знанию. Нам с ней обеим было «всегда не лень учиться». Ася и Соня учиться не любили и способностями уступали нам с Катей. Всех заметнее и способнее была старшая сестра, у которой была блестящая память. Все давалось ей чрезвычайно легко, но не оставляло глубоких следов на ее мирозерцании и вкусах. Кроме того, она быстро охладевала к своим занятиям. У нее были изрядные способности к рисованию, она несколько раз принималась брать уроки живописи, но вскоре бросала их и, овладев рисунком, остановилась на плохой акварели. К языкам она была тоже очень способна, из нее вышла хорошая переводчица, менее яркая, но более точная и литературная, чем наша мать, так как у матери был настоящий талант, а у нее только известная даровитость.

Следующая по способностям была я. Я вообще хорошо училась, но брала не памятью, а сметкой и рвением. У меня была сильная склонность к математике и к музыке, но мои способности к языкам были гораздо слабее. Все мы отличались даром слова и любовью к литературе и были сильны в русском языке.

Сестра Соня была вообще довольно ленива, но ей легко давались языки. Она хорошо говорила по-французски и по-английски, причем отличалась необыкновенно изящным выговором.

Катя знала также немецкий, итальянский и даже испанский языки. Ася училась очень неровно, к языкам была не более способна, чем я, что не помешало ей в будущем сделаться

хорошей переводчицей, но она знала только французский язык, а я переводила с французского, немецкого и польского. Самая блестящая из нас была Катя, а самая оригинальная Ася.

По наружности сестры Бекетовы тоже представляли два типа. Соня и Ася были очень женственны, с волнистыми линиями тела и округленными лицами. Мы с Катей худые, с угловатыми фигурами. Катя была совсем не женственна, но, что называется, интересная. У нее был нежный цвет лица, живые и переменчивые глаза с темными бровями и длинными ресницами, довольно тонкий профиль и пышные пепельные волосы, которые она разнообразно и красиво причесывала. Соня была белокурая, розовая, очень свежая и миловидная девушка небольшого роста. Талия в рюмочку, английские локоны и мечтательный вид – такова она на портрете невестой за двадцать лет. Асю я уже описывала не раз.

Одни находили, что всех красивее Катя, другие предпочитали Асю, но Ася была, несомненно, привлекательнее Кати и больше нравилась мужчинам. Соня была очень миловидна и привлекала своей целомудренной тихой женственностью. Единственная несомненная дурнушка была я, хотя очевидцы уверяют, что я была не так дурна, как казалась себе самой. Прибавлю однако, что я никогда не завидовала сестрам, всегда восхищалась их наружностью и гордилась их победами. Зато Катя и Ася вечно соперничали между собой по части успехов. Катя, что называется, затирала младших сестер, не давая им ходу. Мы с Соней не предъявляли никаких протестов – отчасти по миролюбию, отчасти по скромности и из гордости, но Ася была не из тех, кто способен был уступить в том случае, если хотели ее затушевать и отодвинуть на задний план. Она не отбивала чужих поклонников, но за свое право веселиться и нравиться очень держалась и порядочно воевала с Катей. Положение Кати в семье было особое. Ее сильно отличали от других дочерей родители, особенно отец. Ей внушено было, что она существо высшего порядка: и умнее, и красивее, и крупнее сестер. Он прямо говорил нам, что по сравнению с ней мы «мелко плаваем». Отец наш нежно любил и баловал нас всех, но его пристрастие к Кате было уже выше всякой меры. Это портило наши отношения с ней, а главное – сильно вредило ей самой, т. к. дурно влияло на ее характер и манеру себя держать и выставляло ее в невыгодном свете. Все это со временем сгладилось, но в молодые годы было очень остро.

В заключение скажу о том, где и как учились сестры Бекетовы. Сестра Катя получила почти целиком домашнее воспитание. Ей нанимали учителей истории, географии, математики и т. д. . . . Русскому языку она училась больше по книгам, а французскому – у матери, остальным научилась впоследствии собственными силами: немецкому – во времяграничной поездки, уже за двадцать лет, без всяких уроков; итальянскому и испанскому – при помощи грамматики и словаря, а читала в подлиннике «Божественную комедию» Данте и испанских классиков; систематически училась она только английскому языку, для чего, уже взрослой, брала уроки у англичанки. Сестра Соня училась французскому языку у матери и в гимназии, английскому – только в гимназии, а говорила на обоих языках лучше Кати, которая тоже на них говорила. Мы с Асей, гораздо менее способные к языкам, плохо говорили по-французски, учась сначала у матери, а потом в гимназии. Ася дальше французского языка не пошла, а я, учась только в гимназии, читаю и совсем плохо говорю по-немецки, могу читать с грехом пополам английские книги и самые легкие итальянские. Еще выучилась польскому языку – свободно читаю и плохо говорю. Все сестры, кроме Кати, учились в гимназиях – Соня в частной, мы с Асей в частной и в казенной. Можно смело сказать, что отец своим непомерным баловством всячески мешал нам учиться. При малейшем дожде он отговаривал нас идти в гимназию и совершенно не признавал авторитета учителей. Когда мы рассказывали, что кто-нибудь из них сделал нам замечание или в чем-нибудь нас не одобрил, он тут же объявлял, что они дураки и ничего не понимают. Мать же, напротив, всегда поддерживала авторитет учителей и гимназического начальства и требовала от нас исполнения долга – насколько это было возможно при столь баловливом отце.

В конце шестидесятых годов открылась в Петербурге первая частная женская гимназия Спешневой. Она помещалась в скромном деревянном домике с небольшим садом в 4-ой линии Васильевского Острова, откуда перешла вскоре в довольно роскошное помещение во второй линии близ Большого проспекта. Содержательница гимназии (урожденная Черепанова) была женщина просвещенная и не глупая, но слишком самолюбивая и властная. В гимназии была большая программа, близкая к размерам программ мужских гимназий, особенно напирала на математику, физику и химию. В старших классах ввели даже для желающих классические языки, которые могли быть полезны для поступающих на открывшиеся в то время Высшие женские курсы. Французский, немецкий и английский языки преподавали иностранки. Учителей нанимали с большим разбором, впрочем все-таки не всегда удачно. В подготовительном классе было введено наглядное обучение и другие приемы немецких педагогов, о чем я скажу подробнее ниже. Между прочим, преподавалось чистописание, и введена была гимнастика, причем некоторые движения мы проделывали под собственное пение примитивных мотивов, с банальными словами вроде следующих: «Утро проснулось, солнце взошло. Все встрепенулось и все ожило». Танцы не преподавались, но уроки пения давал известный в то время Горянский, плохие песни которого мы часто исполняли в классе, но взрослые ученицы, близкие к выпуску, пели такие сложные вещи, как хоры из «Stabat Mater» Россини. Были введены и специальные уроки картонажного и переплетного мастерства, из-за которых нас держали до 5-ти часов вечера. Я, между прочим, очень любила эти уроки, тем более, что преподаватель был очень симпатичный.

В гимназии были всевозможные пособия вроде чучел птиц и зверей, которые приносились на уроки зоологии. Классы были обставлены уютно, не на казенный лад: у маленьких были парты, а в средних и старших классах длинные столы, покрытые зеленым сукном, за которыми сидели ученицы, которых, особенно вначале, было немного. Рисованию обучали, конечно, тоже. Во время большой рекреации девочек младших классов выпускали в сад, введены были вначале, конечно, за плату, сытные завтраки с горячим молоком и мясными блюдами.

Сестры Соня и Ася поступили в гимназию лет 9-ти и 11-ти. Я так приставала к матери, скучая без сестер, особенно без Аси, что и меня отдали в гимназию в возрасте семи лет, когда старшие гимназистки принимали меня по росту за пятилетнюю и ласкали, как маленькую. Я была довольно бойка и порядочная попрыгунья, читала совсем свободно и осмысленно, умела писать и считать, а, главное, была гораздо развитее своих подруг. Помню, как какой-то педант, учитель с немецкой фамилией, заставлял нас точно формулировать, где стоит, например, данный стул. На этот вопрос в требуемой форме могла ответить одна только я. Класс повторял за учителем и за мной раз 10 одно и то же, что было невыносимо скучно и вряд ли полезно. Учитель русского языка, поживее того, заставлял нас описывать что мы видим на картине, где изображено было в красках – на верхнем плане поле и пахущий крестьянин, на нижнем – ржаное поле со жнищами. Мы должны были повторять 20 раз кряду в одних и тех же выражениях эти нехитрые описания в самом сухом, буквальном изложении. Я от души возненавидела все эти картины и упражнение, явно заимствованное из немецкой педагогики, а позднее связала с ними пошловатое стихотворение Майкова:

Пахнет сеном над лугами.
Песней душу веселя,
Бабы с граблями рядами
Ходят, сено шевеля.

Стихи эти я невзлюбила тем более, что учитель заставлял нас произносить их, нарушая ритм, т. е. останавливаясь с ударением после слова «ходят».

Марья Петровна Спешнева была женщина еще молодая и обаятельная. Все гимназистки ее обожали и смертельно боялись. Таково было ее моральное воздействие без применения каких бы то ни было наказаний. Помню, как я, девочка далеко не робкая и в то время довольно самоуверенная, от смущения не могла петь в ее присутствии, когда меня вызвал Горянский, сказав предварительно Марье Петровне, как я хорошо пою для своих лет (мне было в то время лет восемь, и я отличалась особенно верным слухом). Обязанности инспектрисы исполняла приятельница Марии Петровны, розовощекая старая девица с локонами, очень добрая, но глупая и педантка Мария Дмитриевна. В гимназии был очень строгий режим. Требовалось не только прилежание и хорошее поведение, но и строгость в костюме. Ученицы носили форму: коричневое платье с черным передником, но если девочка надевала, например, брошку, Мария Дмитриевна делала ей выговор в мягкой, но скучной форме, вроде следующего: «Ты хочешь показать, что у тебя есть брошка, Ляля? Аня Иванова, пойди сюда». Аня подходила. «Скажи, Аня, у тебя дома есть брошка?» – «Есть, Мария Дмитриевна». «Вот видишь, Ляля, у Ани тоже есть брошка, а вот она ее не надела. Никогда не носи в гимназии брошку, сними ее». Таким путем преследовалось тщеславие.

К числу особенностей этой гимназии относилось такое, например, правило: девочки должны слушаться не родителей, а гимназическое начальство. Однажды у сестры Сони заболело горло. Опасного ничего не было, мать отпустила ее в гимназию, завязав ей горло белым полотняным платком. Увидав Соню, Мария Дмитриевна немедленно начала допрос: «Почему у тебя завязано горло, Соня?» – «У меня болит горло, Мария Дмитриевна». – «Сними сейчас же платок». – «Мне мама велела его носить». – «Это все равно. В гимназии ты должна слушаться меня, а не маму. Если я говорю, чтобы сняла платок, ты должна его снять». При этом Мария Дмитриевна выговаривала не «гимназия», а «гимназидия», а голос у нее был как из бочки. Ее не боялись, но не любили.

Кстати, о педагогических упражнениях Марии Дмитриевны я могу сообщить, что сестра Катя тоже пробыла в гимназии Спешневой около года в одном из старших классов. Она училась, конечно, прекрасно, благодаря своим блестящим способностям, но у нее произошел неприятный инцидент с Марией Дмитриевной, которая ее, далеко не плаксу и очень гордую девочку, довела до слез, отчитывая за то, что она пришла в гимназию в черном платье с красными бантами. Дома она не привыкла к выговорам, а Мария Дмитриевна порядком ее распушила. После этого случая Катя уже не вернулась в гимназию.

Не этот ли эпизод с красными бантами послужил Блоку, вероятно, слышавшему о нем от матери, прототипом к той красной косопплетке, о которой говорится на страницах «Возмездия» при обрисовке характера младшей сестры:

...Велит ей нрав живой и страстный
Дразнить в гимназии подруг
И косопплеткой ярко-красной
Вводить начальницу в испуг...

Однажды в гимназии Спешневой произошел случай, очень характерный для нравов начальницы и ее отношения к ученицам. Пригласили новую учительницу французского языка, мадмуазель Б. Я хорошо ее помню: брюнетка средних лет с желчным и злым лицом. Она оказалась очень неприятной, так что девочки ее невзлюбили. Само собой разумеется, что они рассказывали дома про эту учительницу, жалуясь на ее несправедливости и резкий характер. Через несколько месяцев после ее поступления в «Петербургском листке» появилась статья на ее счет. Кажется, даже была названа ее фамилия и гимназия, в которой она преподавала. Газетка попала в руки Марии Петровны. В тот же день она созвала после классов всю гимназию. Ученицы почувствовали, что готовится что-то необычайное, и сразу

пришли в нервное состояние. Среди гробового молчания Мария Петровна, бледная и взволнованная, спросила значительным тоном: «Дети, кто из вас рассказывал дома про m-lle Б?» Разумеется, таких было много, но все до того боялись Марии Петровны, а обстановка была столь торжественная, что гимназистки молчали, и одна только я, со свойственной мне преувеличенной добросовестностью, решила признаться в том, что явно считалось предосудительным. Я выступила вперед из рядов прочих девочек и пропищала: «Я рассказывала, Мария Петровна». Мне было в то время лет 8, а на вид не больше шести, но неумолимая начальница не только не похвалила меня за честность, но, наоборот, наказала своим презрением, объявив, что она не подаст мне руки (!). Я была в отчаянии от этого проявления ее гнева и по дороге домой горько плакала. Но эпизодом со мной еще не кончилась эта сцена, которую устроила Мария Петровна. Она подошла к одной из старших девочек и сказала патетическим тоном, показав на нее пальцем: «Я знаю, кто больше всех рассказывал дома про m-lle Б. Это вы, Мейнгардт». Эффект был поразительный. Румяная и обычно спокойная девушка с милым лицом и двумя прекрасными косами упала в истерику, после чего во многих углах послышался плач и рыдание. Мария Петровна объяснила всю чудовищность поведения Мейнгардт. Что было дальше, не помню. Должно быть, нас с Асей поскорей увела домой рассудительная Соня, которая вообще опекала нас, как старшая сестра. Хорошо помню, как в дождливую погоду она брала нас с Асей с двух сторон под руку, а сама держала над всеми тремя большой дождевой зонтик.

Помимо многих недостатков Спешневской гимназии ее можно все-таки помянуть добром. Там много, и по большей части хорошо, учили. Общий недостаток был тот, что многие учителя слишком много задавали уроков, чем сильно утомляли учениц. Лучше всего преподавалась почему-то математика во всех ее областях. Особенно хороши были учитель геометрии Страннолюбский и учительница арифметики Таганцева, сестра известного юриста и профессора, в руки которой перешла впоследствии гимназия Спешневой, которую она вела в том же строгом духе, но без истерических сцен. Из иностранок самая талантливая была уже старая, но все еще красивая m-lle Дюбю, а всего милее англичанки, которые все, как на подбор, были хорошенькие. Особенно две из них напоминали ангелов со старинных картин: высокие, белокурые, стройные, с прелестными, бледными лицами и тонкими чертами. Хуже всего преподавалась география. Помню двух учителей. Один из них – литвин или белорус Махвич-Мацкевич – был очень живой, но мало сведущий и, кроме того, замучил нас, заставляя заучивать наизусть цифры, обозначающие точки, где скрещивались меридианы и параллели главных пунктов той ломаной линии, которая обозначала очертания материков. Другой учитель, Обломков, был крайне сух и преподавал свой предмет с чисто внешней стороны, вследствие чего география казалась мне невыносимо скучной.

В четвертом классе у меня начались такие головные боли, что меня взяли из гимназии Спешневой, прихватив за компанию уж и Асю, и обоих нас отдали в соответствующий класс Василеостровской казенной гимназии, помещавшейся в IX-ой линии, где нам сначала почти нечего было делать. Единственный предмет, к которому пришлось серьезно готовиться, был Закон Божий, т. е. собственно катехизис, до которого мы еще не дошли у Спешневой. Сестра Соня, дойдя до последнего класса гимназии Спешневой, ушла оттуда, не кончив экзаменов; Асю взяли из последнего класса казенной гимназии по нездоровью: у нее оказался, как следствие скарлатины, бывшей в раннем детстве, порок сердца, который в то время был еще в зачаточном состоянии, так что она отлично могла бы кончить курс в легкой гимназии и, вероятно, не так рано бы вышла замуж и была бы счастливее и здоровее, а, впрочем – тогда не было бы, пожалуй, и всего последующего, т. е. Ал. Блока и его стихов...

Веселая и шаловливая Ася, конечно, не противилась воле родителей и охотно покинула гимназию. Таким образом, вышло, что курс в гимназии кончила только я, невзирая на

головные боли, которые продолжались, и это было только потому, что мне так хотелось и нравилось.

Казенная гимназия оказалась полной противоположностью частной; программа была бесконечно меньше: после арифметики проходили только начатки геометрии и алгебры, естественные науки преподавались в минимальном размере и т. д. Вместо гимнастики, разумеется, были танцы, которым учил балетмейстер. Хороших учителей, т. е. талантливых, было мало, лучшим из них был В. Диковский, который преподавал историю и русский язык, причем иногда прекрасно читал нам вслух кого-нибудь из классиков и заставлял нас читать, например, отрывки из пушкинской «Полтавы», распределяя по ролям диалог Марии и ее матери, пришедшей к дочери перед казнью Кочубея.

Начальница была представительная дама с изящным французским языком. Она была умная и тактичная женщина и не донимала нас принципами и строгостями. Девочки одевались, как хотели – не без бантиков и брошек, при встречах с начальством и учителями должны были делать глубокие реверансы по всем правилам танцевального искусства. В этой специальности особенно преуспевала Ася, которая была очень грациозна. Перед началом и концом классов мы пели молитву, чего не было в частной гимназии. Раз в год бывали ученические концерты с пением и декламацией. Вообще в этой гимназии жилось легко, не то, что <у> Спешневой, но все же гимназическая учеба смертельно мне надоела. Так что я была очень рада, когда распростилась с гимназией. Я была бы очень не прочь поступить на Бестужевские курсы, но родители меня туда не пустили по слабости моего здоровья, которое действительно было сильно расстроено. Вместо того я усиленно занялась чтением, а главное – музыкой. К сожалению, я вскоре бросила уроки рисования, которые брала в школе Общества поощрения художеств. Я сделала это главным образом потому, что мне трудно было ходить пешком из ректорского дома на Б. Морскую, где помещалась школа, а денег на извозчиков у меня не было. А между тем способности к рисованию у меня были: из меня бы не вышла настоящая художница, но живопись, хотя бы акварельная, принесла бы мне очень много радостей. Но я углубилась в музыку, то есть стала брать уроки игры на фортепьяно, что принесло небольшие результаты, но еще больше расстроило мое здоровье. На Бестужевские курсы поступила Катя, предварительно выдержав в специальной комиссии, как и Соня, экзамен на домашнюю учительницу. Начав с блеском, Катя, по обыкновению, бросила это дело, на полдороге и ушла с курсов. А уж мечтала вместе с отцом о будущем профессорстве и о том, как она появится на кафедре в черном шелковом платье. Причиной ухода сестры моей с курсов на этот раз было нечто, не от нас зависящее: ее злостно травил некая курсистка, которая имела виды на одного из молодых профессоров, читавших на курсах. Он был очень близок у нас в доме, и она думала без всякого основания, что он Катин поклонник и будущий жених, и потому подстраивала сестре моей такие каверзы, которые действительно трудно было переносить. Из всего сказанного видно, сколько слаб был к своим дочерям мой отец, так ревностно насаждавший высшее женское образование.

Глава II

Отец

Родители мои были люди выдающихся и разнообразных дарований, а характерами своими создавали тот светлый, радостный тон, которым окрашена была наша деревенская жизнь. В 1875 году, с которого начинается моя летопись, отцу нашему было 50 лет. Он был очень крепкий и здоровый человек, почти не знавший болезней. В молодости он был некрасив, но в зрелом возрасте его наружность приобрела привлекательность и приятность. Его находили даже красивым. Такую счастливую перемену нередко замечала я в людях, перешедших юношеские тревоги, но только в том случае, если они вели умеренный образ жизни и не знали ни бурь, ни разрушительных страстей, к одной из которых я причисляю болезненное самолюбие, так как, по моему наблюдению, большие эгоисты и большие самолюбцы никогда не хорошеют к старости. Мой отец не страдал ни излишним эгоизмом, ни болезненным самолюбием. Темперамент у него был сильный, но без всякой склонности к патологии, и при этом большие семейные склонности. В 50 лет он сохранил прекрасную мужественную фигуру, держался прямо, был неутомимый ходок. Его привлекательность происходила главным образом от выражения лица – открытого, доброго и вообще симпатичного. Хорош у него был только умный, спокойный лоб и пышные седины. Он поседел очень рано, и его густейшие курчавые волосы, а также мужественные длинные усы и борода, несомненно, скрадывали недостаток черт и овала лица. Живая речь и быстрые движения делали облик его молодым, несмотря на раннюю седину; откровенный, непосредственный и пылкий характер придавал ему что-то детское. Он был веселый, нежный отец, всегда готовый не только потакать всем шалостям своих детей, но даже сам иногда в них участвовать. Очень вспыльчивый, но чрезвычайно добрый, он способен был накричать на своих домашних или на собеседника, после чего часто каялся и просил прощения совершенно по-детски. Терпимость была не из его добродетелей, хотя вообще добродетелей у него было много. Об его общественных заслугах я скажу ниже. Что касается дарований отца, то они были разнообразны. Он был талантливый ученый, в своей второстепенной науке – ботанике (систематика растений) сделал довольно много, но успел бы еще гораздо больше, если бы не отвлекала его широкая общественная деятельность и многообразные семейные обязанности. Книги его написаны хорошим литературным языком, описание растений метко и образно. Его лекции чрезвычайно охотно посещались. Слушателей у него всегда было много. Не обладая красноречием, он привлекал широтой научных взглядов и обобщений. Особенно любили и ценили студенты его общий курс и вступительные лекции. Подробности он иллюстрировал на доске бойкими талантливыми рисунками, очень точно и художественно изображавшими части цветка или же все растение. К живописи у него было настоящее дарование. Он рисовал только акварелью, но его рисунки с натуры и наизусть карандашом и пером поражают смелостью и настоящей художественной правдой. Рисунки растений, предназначенные для его курса ботаники, удивительно тонки, изящны и точно воспроизводят натуру. В несколько минут он мог нарисовать все, что угодно: человеческую фигуру, животных, деревья, здания – все выходило у него характерно и живо. Надо заметить, что он учился рисовать только в гимназии, другими словами, совсем не учился. У меня сохранились кое-какие его рисунки. Остались после него и литературные опыты, к сожалению – все обрывки. Есть целые главы романа из времен его детства и юности, некоторые сцены несомненно талантливы. Стихов он почти не писал, если не считать тех шуточных виршей, которые он иногда сочинял для нашей потехи. Прибавлю еще, что он был не узкий специалист: он живо интересовался историей, которую хорошо знал, увлекался политикой, был далеко не чужд литературе и любил изобразительные искус-

ства. К числу приятных легких талантов можно отнести его большую способность к языкам (он знал французский и итальянский языки) и умение живо и весело рассказать любой эпизод из действительной жизни. Вообще он был обаятельный человек. Одной из причин этого обаяния была полная бесхитрость и детская доверчивость. Иногда он бывал резок и раздражителен, но груб никогда. Будучи истым баринком и белоручкой, выращенный в богатом помещичьем доме и в крепостном быту, он называл горничных «сударыня» и никогда не бранился. К женщинам относился с величайшей симпатией и высоко их ставил. «Мужчины любят самоотвергаться с треском, – говаривал он, – а женщины делают это незаметно». Недаром так ратовал он за высшее женское образование. Но я уверена, что курсовые комитетские дамы – красавица А. П. Философова, обаятельнейшая В. П. Тарновская и очень некрасивая, но аристократическая Н. В. Стасова² и другие дамы – любили его не только за горячую и энергичную поддержку в их деле, но также и за его барственную и приятную наружность и милую старинную любезность изящным французским языком и почтительными комплиментами, вроде следующих. Как-то летом в Шахматове одна из подруг моих сестер сказала: «Вот удивительно: ко мне на щеку села бабочка!» – «Сударыня, она приняла вас за розу», – сказал отец.

Те приятные таланты отца, о которых я говорила, часто служили к тому, чтобы забавлять собственных детей. Я помню, как в детстве, когда мне было лет 5 или 6, а остальным приблизительно 7, 9 и 11, отец рассказывал нам сказку собственного сочинения. В ней не было ни фабулы, ни завязки. Это были различные эпизоды, которые сочинялись много дней сряду и не имели между собой никакой связи, но касались одного и того же лица. Сказка называлась «Принц Балдахон». У принца, конечно, был замок и множество слуг. То он ездил на охоту (один эпизод), то на него напали разбойники (другой эпизод), то <он> задавал пир и т. д....

Помню все это очень смутно. Все эти рассказы отец тут же иллюстрировал карандашом; есть рисунок, сделанный красной краской. У меня сохранился портрет принца Балдахона в широкополой шляпе с пером, с орлиным носом, курчавыми волосами, густой бородой и с усами, лицо мужественное и энергичное. На том же месте внизу голова негритенка. Это, конечно, один из слуг Балдахона. Помню рисунок охоты: Балдахон, едущий верхом по дороге со свитой. Это было едва намечено, но очень выразительно. Эпизод с разбойниками очень приняла к сердцу моя чувствительная сестра Соня (ей было тогда 9 лет), она даже плакала. Конечно, все кончилось полным благополучием, так что она скоро успокоилась. Кажется, у Балдахона была невеста Клотильда. Стилль не всегда соблюдался. Так, например, на маслянице вместо флага висел у Балдахона на башне замка гигантский блин. Красной краской была нарисована цапля среди болота и убитая дичь.

Во время рассказывания сказки отец лежал обыкновенно на диване, но для рисования, конечно, вставал и садился к столу. По временам рассказывалась еще одна сказка: «Мальчик Захарчик и девочка Спиридошечка». Все дело было в том, что они жили в лесу в избушке, а при ней был огород, где росли: капуста, морковь, огурцы и т. д., или: у них был сад. Там росла малина, земляника, клубника и т. д.... Не было даже никаких событий, но мы очень любили эту сказку.

Что касается домашних стихов, то тут отец придерживался какого-то особого стиля – не то архаического, не то уж не знаю какого. По большей части он раздражался одностишием или двустистишем вроде следующего: «Вот сер камень здесь лежит, кло которого мы были».

² Надежда Васильевна Стасова (1822–1895) – участница женского движения, одна из организаторов воскресных школ и высшего женского образования в России; Варвара Павловна Тарковская (1844–1913) – активная деятельница женского движения. Обе были членами совета Высших женских курсов.

Но раз в жизни он написал шуточное стихотворение в 12 строк, которое было в письме, написанном мне из курорта Киссинген, где он пил воды, живя один и страшно скучая. Это было летом 1874 года, за год до нашего въезда в Шахматово. Мать наша была тогда в Содене (еще один немецкий курорт) с сестрой Катей, которую доктора послали туда лечиться от плеврита. Скажу мимоходом, что родители мои не признавали русских курортов, и, чуть что, везли детей или сами ехали за границу. Сестра Катя, конечно, отлично могла бы поправиться от обыкновенного плеврита просто в деревне у одной из тетушек, а уж в крайнем случае в Крыму, но ее повезли в Соден. Три остальные сестры проводили лето в Финляндии под присмотром очень популярной в семье «тети Сони», старшей сестры нашей матери. Мы занимали верхний этаж дачи, в которой жил приятель отца, ботаник Воронин, со своими двумя дочерьми. Мне было в то время 12 лет, Асе 14, Соне 16. Но вернемся к письму отца из Киссингена. В начале его выражается одно из типичных для отца опасений: он боялся, как бы я не вывалилась из экипажа во время поездок на купанье, о которых я ему писала. «Ты можешь упасть в канаву и ушибиться, – писал он, – это мне представляется, когда я дольше обыкновенного не получаю от вас писем, как, например, теперь.

Здесь же давно стоит свежая и даже холодная погода, дождь, как, например, теперь, идет беспрестанно. Эта новая скука прибавляется к прежней, а потому я сочинил следующее стихотворение:

Смертна скука в Киссингене,
Давит мя уже давно.
Но болят мои колени,
Что нимало не умно.
Пью слабительную воду,
Без нее бы обойтись,
Но теперь вошло уж в моду,
Чтоб в Германию все брысь.
Во Германии же мерзко,
Немец всюду там торчит.
А кому же неизвестна
Скука, коей он разит.
и т. д., и т. д.»

Отношение к немцам у моего отца было отрицательное, хотя он признавал великие заслуги их писателей, философов и ученых. То ли дело французы! Этих он любил страстно, а к Парижу питал особую нежность.

Деды дремлют и лелеют
Сны французских баррикад.
Мы внимаем ветхим дедам,
Будто статуям из ниш:
Сладко вспомнить за обедом
Старый пламенный Париж.

*(Ал. Блок, т. I стихов.
«Светлый сон, ты не обманешь»)*

На этот раз судьба сжалилась над отцом: из скучного немецкого курорта он попал в Биарриц, где в один сезон вылечил в океане свой ревматизм. А, впрочем, ему невесело было и во французском Биаррице. «Я буду просить, чтобы меня на море не посылали», – пишет он

в приведенном письме. Доктора он, однако, послушался и таки поехал на морские купанья, что действительно было ему очень нужно, так как ревматизм донимал его не на шутку, а он не привык болеть. Это единственная болезнь, которую я помню у отца до 67-летнего возраста. К обрисовке отца как семьянина и человека я прибавлю, что в нем не было ни малейшей светскости; его любезность, радушие и привлекательность были совершенно естественны: он не способен был притворяться и лицемерить: если ему было приятно с гостем, он был очень мил, но если ему было с ним скучно, он откровенно сердился или просто уходил от него при малейшей возможности. Вообще все его добрые качества происходили только от хорошей натуры. Все, сказанное об отце, делало его любимцем и в семье, и в обществе. Очень любили его также студенты и молодые ученые, ученики его. Сам он чрезвычайно любил молодежь и в особенности детей.

Затем я должна сказать хоть вкратце об его общественной деятельности. Без этого портрет его был бы не полон, так как общественность была у него в крови. Он никогда не ограничивал свою деятельность узким кругом известных обязанностей, но всегда расширял ее, превращая всякое частное дело в общественное. Будучи профессором ботаники, он проявил энергичную организаторскую способность и совершенно преобразовал устарелые способы преподавания своего предмета. До него при университете не было никаких пособий по ботанике, и потому практические занятия сводились к нулю. Его стараниями, благодаря исключительно его инициативе и энергичным хлопотам и заботам, создан при Петербургском университете ботанический уголок, сыгравший огромную роль в деле преподавания и распространения ботанических знаний. Отец добился того, что тогдашний кадетский корпус безвозмездно уступил университету большой участок земли, находившийся за стенами учебного плаца. На этом участке разведен был ботанический сад и построен трехэтажный дом, который стоял на высоком месте как раз посередине участка. К дому примыкали три небольшие оранжереи, где были, между прочим, прекрасные пальмы и древовидные папоротники. По одну сторону ботанического дома был разбит обыкновенный сад с искусственным прудом, аллеями и цветниками; большая часть другой стороны была занята ботаническим садом, разделенным на квадраты с образчиками всевозможных растений, по которым студенты учились систематике. В этой стороне у стены, примыкавшей к университетскому двору, оставалось довольно большое пустое пространство, где росло несколько гигантских деревьев. Это были осокори екатерининских времен, со стволами во много обхватов шириной и могучими ветками, затенявшими весь участок.

Эти великолепные деревья погибли лет 15 спустя после устройства ботанического уголка. Их корни засыпали известкой и щебнем во время постройки химического дворца, белое здание которого возвышается вдоль стены перпендикулярно той, у которой стояли осокори. Весь сад расположен против университетской галереи, по ту сторону двора.

В ботаническом доме были кабинеты профессоров, аудитории студентов, квартиры ученого садовника и лаборанта. Дом был снабжен всевозможными пособиями, в числе которых был гербарий, составленный из среднеазиатских коллекций тестя отца – Карелина, и несколько сот больших ботанических таблиц, художественно исполненных акварелью.

Помню, как в детстве моем разбирали в профессорской квартире отца дедовский гербарий, причем мать моя делала своим четким, красивым почерком латинские надписи на полосках бумаги и наклеивала их на листы гербария. Ботанические таблицы рисовала у нас на квартире и на даче в Шувалове талантливая художница-самоучка Е. П. Ипатова. Эта оригинальная и симпатичная девушка была другом нашей семьи. Она очень любила моих родителей. С отцом она была в товарищеских отношениях, называла его «Бей сереброгривый» и высоко ценила как ученого и человека. К матери нашей она относилась с восхищением и нежностью, была с ней на ты и звала ее Лизочкой. Екатерина Петровна была весела, простодушна и отличалась мужским складом характера. Большая физическая сила и звучный

контральт тенорового тембра дополняли это впечатление. Она была гораздо больше мужчины, чем женщина, и мужчина очень хороший – с открытой, честной душой, великодушный и смелый. У нее был хороший голос и прекрасный слух, и я особенно любила слушать ее безыскусственное, но музыкальное пение.

Увлечшись описанием этого своеобразного существа, я отвлеклась от темы. Дело шло о ботанических таблицах. Екатерина Петровна срисовывала на большие листы ватманской бумаги наколотые кнопками на доску типичные растения какого-нибудь рода или вида, а также все его составные части в сильно увеличенном виде, а я с восторгом следила за ее работой. Кроме этих пособий, студенты пользовались также микроскопами и набором тонких инструментов для препарирования растений. В то время столь тщательно обставленных ботанических аудиторий не было не только в русских, но и в зарубежных университетах. Сколько же нужно было энергии для того, чтоб добиться таких результатов у нас в России!

Создав целую школу ботаников-систематиков и ботаников-географов, отец с увлечением отдался идее поднятия общего уровня научных знаний в России. При его горячем содействии возникли Съезды естествоиспытателей и Общества естествоиспытателей при русских университетах. Первый Съезд естествоиспытателей и врачей был открыт в стенах Петербургского университета 1867 году. Андрей Николаевич был одним из делопроизводителей Съезда и председателем распорядительного комитета. Хлопот было много. Приходилось заботиться о помещении для иногородних гостей, и о программе Съезда, и об организации экскурсий для осмотра научных коллекций, лабораторий, заводов и прочего. Вслед за этим последовала работа в Обществе естествоиспытателей. Андрей Николаевич председательствовал в Ботаническом отделе, редактировал труды Общества, многие годы состоял президентом Общества естествоиспытателей – и все это со свойственной ему страстью и добросовестностью. Заседания Ботанической секции происходили обыкновенно в Красном доме Университетского ботанического сада. Помню, как весело собирались туда мой отец и один из друзей нашего дома, ботаник М. С. Воронин, известный в то время богач, владелец Воронинских бань, но скромнейший человек, более всего заинтересованный своими научными исследованиями, составившими ему европейское имя. В этом уютном Красном доме, который отец называл по-итальянски *Casa rossa*, он занимался наукой и читал лекции, проводя там по несколько часов в день.

Я не могу слишком долго останавливаться на общественной деятельности отца. Она столь разнообразна и обширна, что для подробного описания ее понадобилась бы целая книга.

Приходится ограничиться краткими заметками.

Глубокий интерес Андрея Николаевича к народному образованию выразился в его деятельности в Вольно-экономическом обществе и состоящем при нем Комитете грамотности. Андрей Николаевич написал известную популярную брошюру «Беседы о земле и тварях на ней живущих», за которую получил Киселевскую золотую медаль³. Работал он также как публицист, печатая в газетах статьи о значении естествознания для общего образования и развития, защищал Университетский устав 63 года, написал большую статью о положении студентов и необходимости для них корпоративных организаций.

Великую горячность проявил Андрей Николаевич в деле насаждения высшего образования женщин. Далеко не все, вероятно, помнят, что на первом Съезде естествоиспытателей и врачей была подана Евгенией Ивановной Конради записка, в которой она отстаивала право женщин на высшее образование⁴. Андрей Николаевич внес эту записку в Комитет съезда и

³ В библиотеке Блока было издание этой книги: А. Н. Бекетов. Беседы о земле и тварях, на ней живущих. 7-е изд. СПб., 1898 (*Библиотека*, вып. 1, с. 27).

⁴ Конради Е. И. (1838–1898) – известная либеральная общественная деятельница. Ее записка получила в то время широкий отклик. См.: Е. Г. Бартерева. Евгения Ивановна Конради (Из воспоминаний старой знакомой) – «Женское дело», 1899,

прочел ее на общем собрании. На следующий год 400 женщин подали записку на имя ректора Петербургского университета, прося допустить их в университет в свободное от занятий время. Тогда коллегия профессоров организовала целую комиссию для обсуждения этого вопроса под председательством Андрея Николаевича. Его сочувствие этому делу разделяло большинство профессоров Петербургского университета. Просьба женщин была принята. Во всех дальнейших шагах, предпринятых по этому делу, Андрей Николаевич был, так сказать, застрельщиком. По его ходатайству министр народного просвещения граф Д. А. Толстой разрешил организовать популярные научные курсы для женщин, предоставив для этого нижний этаж собственной квартиры. Сначала допущены были публичные лекции для лиц обоего пола.

Во главе этого скромного учреждения стоял Андрей Николаевич. Открытие курсов состоялось в начале 1870 года, а в 1876 году было разрешено Александром II открыть Высшие женские курсы во всех университетских городах России. Через два года курсы были открыты в помещении Александровской женской гимназии. В течение 10 лет Андрей Николаевич состоял председателем педагогического совета Бестужевских курсов, привлекая к преподаванию лучших профессоров университета. Он же был избран председателем комитета по доставлению средств высшим женским курсам. Нечего и говорить, что он сам был в числе профессоров, читавших на курсах. Он же выхлопывал субсидии у министра и городской Думы, ходатайствовал о расширении трехгодичного курса до размеров четырехгодичного и т. д. Словом, везде и во всем, касающемся этого начинания, он приложил свою руку и сыграл первенствующую роль. Высшие женские курсы в Петербурге по всей справедливости нужно было бы назвать Бекетовскими, но во главе их был поставлен по воле министра талантливый историк К. Н. Бестужев-Рюмин, более отвечавший тогдашним понятиям правительства о благонамеренности; отец мой считался человеком опасным и беспокойным: он беспрестанно тревожил власти по тому или иному делу учащейся молодежи. Хорошо и то, что его терпели, а иногда и слушались. И то сказать: трудно было устоять перед его неутомимой настойчивостью и горячностью. А впрочем, не последнюю роль играло тут, вероятно, и личное его обаяние, которому поддавались такие люди, как министр Д. А. Толстой, попечитель князь Волконский⁵ и другие консервативные деятели того времени.

Во времена своего ректорства (1876–83 гг.) отец ревностно опекал студентов от козней полиции. Горячие головы, говоруны, ораторствовавшие на сходках, карманы которых вечно были набиты прокламациями «Народной Воли», беспрестанно попадали в Дом предварительного заключения. В таких случаях отец надевал виц-мундир с заранее пришпиленной звездой и отправлялся к градоначальнику с неотступной просьбой отдать студента к нему на поруки. За шесть лет его службы на посту ректора сменилось их несколько: Гурко, Зуров и Трепов⁶. Студентов по большей части отпускали на свободу по просьбе ректора. Смешной случай произошел при Трепове. Отец рассказывал, что во время его градоначальства в течение одного года несколько раз сажали в знаменитую предварилку студента Штанге, бедняка и неисправимого шумилку, совершенно, в сущности, безобидного. Не знаю уж в который раз отпуская этого Штанге на поруки, Трепов воскликнул так громко, что отец все слышал, дожидаясь в приемной: «Опять ректор Бекетов!» Выслушав ходатайство Андрея Николаевича, он послал за студентом и, когда его привели, повернул его лицом к ректору и закричал

№ 1.

⁵ Дмитрий Андреевич Толстой (1823–1889) – министр народного просвещения в 1866–1880 гг.; Михаил Сергеевич Волконский (1832–1909) – попечитель Петербургского учебного округа; Константин Николаевич Бестужев-Рюмин (1829–1897) – историк, академик. Об истории Высших женских курсов см.: Высшие женские (Бестужевские) курсы. Библиографический указатель. М., 1966.

⁶ Иосиф Владимирович Гурко (1828–1901), Александр Елпидифорович Зуров (1837–?), Федор Федорович Трепов (1812–1889) – градоначальники в 1876–1883 гг.

с раздражением: «Вот он! Вот он! Целуйтесь с Вашим Штанге!» Но забавнее всего было то, что когда Штанге ехал на извозчике домой в сопровождении ректора, он был очень огорчен и пенял ему: «Андрей Николаевич, зачем Вы меня взяли? Там публика-то была какая хорошая!»

Был еще один студент несколько другого типа, из состоятельных, но такой же любитель сходов и прокламаций, как Штанге. Этого звали Бонч-Осмоловский. И его не раз выручал отец. Он благополучно кончил курс и уехал на родину. И вот однажды отец получает с почты ценную посылку: что-то тяжелое и объемистое, зашитое в рогожу. С недоумением распаковали мы эту вещь, и что же? Оказалось, что это дедушка Бонч-Осмоловского посылает из какого-то среднеазиатского города большой текинский ковер в благодарность за попечение ректора о его внуке. Ковер этот много лет украшал кабинет отца в различных квартирах. Но верхом искусства отца по части его забот об обиженных правительством студентах был тот случай, когда он добился того, что некий студент 4-го курса, посаженный в крепость, был допущен, по его ходатайству, к выпускным экзаменам. Студента привозили всякий раз из крепости в сопровождении двух жандармов, и он выдержал таким образом все экзамены, кончив курс кандидатом.

К тому времени, как отец сделался ректором (1876 год), он приобрел уже большое влияние среди товарищей – профессоров и студентов, а, кроме того, – что имело особую важность в то время – был уже в чинах и имел несколько орденов, в том числе Владимирскую Звезду, которую он обыкновенно надевал на виц-мундир, отправляясь по делу в чиновный мир. Мундир парадный он надевал очень редко, в самых торжественных случаях. Этот куцый и узкий мундир с белыми штанами не шел к его мужественной фигуре, длинным и пышным волосам и большой бороде. Все это было очень хорошо, когда он был в сюртуке, в пиджаке и даже во фраке, так как у отца была очень красивая фигура и характерная голова, выделявшаяся в толпе. «Schoner Kopf»⁷, – сказал какой-то немецкий ученый, глядя на портрет отца с пышными сединами, оттененными темным фоном.

Лекции отец читал в сюртуке или пиджаке, как большинство тогдашних профессоров. В то время и студенты не имели еще формы, которая так обезличила их впоследствии и создала известный тип белоподкладочника. В 1876 году, когда отца выбрали ректором на первое 3-летие, ему был 51 год, но он был уже совершенно седой. Сделавшись ректором, отец имел чин по крайней мере действительного статского советника. Он не придавал никакого значения орденам и чинам и нисколько не важничал, но считал, что то и другое полезно для его деятельности. «Я теперь важное рыло», – говорил он про себя. В то время он бывал в Зимнем Дворце на придворных балах, а, кроме того, получил приглашение преподавать ботанику сыновьям Александра II Сергею и Павлу. Ботаника была, разумеется, самая легкая, но, конечно, нисколько не интересовала великих князей, которые занимались главным образом военными делами, лошадьми и, вероятно, танцовщицами. Но молодые люди охотно разговаривали с Андреем Николаевичем Бекетовым, который не упускал случая вернуться в разговор анекдот о царе Николае Павловиче, не рекомендуя его с хорошей стороны. Один из этих анекдотов касался посещения Николаем Павловичем того пансиона дворянских детей, преобразованного впоследствии в первую гимназию, где учился отец. Войдя в подъезд, царь был встречен учителем французского языка, старым и глухим человеком, который разговаривал при помощи рожка. Француз подошел к царю и, не слыша, разумеется, что он сказал, наставил свой рожок, причем Николай Павлович громко прокричал ему в ухо: «Aux arrest!»⁸ «За что же?» – спросили удивленные и еще не искушенные жизнью великие князья. Отец, разумеется, ничего не ответил и только неопределенно пожал пле-

⁷ Красивая голова (нем.).

⁸ Под арест! (фр.)

чами. Не помню, сколько отец получал за эти уроки. Кажется, рублей десять за час, но два раза он получил к своим именинам (30 октября стар, стиля) роскошные подарки: массивный серебряный сервиз с его инициалами и большую золотую табакерку с крупными бриллиантами и буквой N, инкрустированной на синей эмали. Сервиз сначала употреблялся, а потом часто закладывался. Табакерка, конечно, не употреблялась, но тоже была не раз заложена. Эти вещи, конечно, давно уже не существуют в нашей семье: что пропало в закладе, что в сейфе во время революции⁹.

Итак, отец был важной персоной. Свое влияние, как ректор университета, он использовал главным образом в интересах студентов. Он был чрезвычайно любим и уважаем не только своими учениками, но и студентами других факультетов. Главным образом для сближения с ними устроил он наши еженедельные субботние вечера. В обхождении со студентами он был прост и сердечен. Во время субботних вечеров он вел в своем большом и уютном кабинете длинные горячие беседы со студентами на различные темы.

У отца было много приятелей среди самых завязанных говорунов и любителей сходов. Их выступления, а также карманы, набитые прокламациями, давали обильную пищу для шпиков, проникавших и в самый университет. Боясь и за них, и за любимое детище, университет, отец уговаривал студентов не рисковать собою и не давать полиции поводов к арестам и к закрытию университета. Репутация студентов, как известно, была в то время очень плохая. Их считали беспокойным и вредным народом. Правительство держало их в черном теле, считая университет рассадником либеральных идей; военные, правоведы и лицеисты их презирали, высшие круги их недолюбливали. Отцовские проповеди благоразумия были очень горячи, не раз удавалось ему уговорить наиболее ярых сходочников воздержаться хотя бы на время от сходов. Убежденные его доводами, студенты давали ему слово вести себя смирно и беспрестанно попадались на удочку провокаций полиции, которая, желая выслужиться к Новому году, неизменно пускала в ход различные средства, нарочно раздражая студентов какими-нибудь заведомо взрывчатыми способами, вроде незаслуженного ареста, избиения студентов и тому подобное. Когда по какому-нибудь поводу весь университет приходил в волнение и по окончании лекции студенты неудержимо стремились в самую большую XII-ую аудиторию, начиналась немедленно сходка. Ораторы один за другим всходили на кафедру, произнося возмущенные речи, требуя протеста и проч. Речи по большей части были совершенно невинные, но по тогдашнему времени считались революционными. Узнав о сходке, отец являлся в аудиторию, наполненную до тесноты взволнованной молодежью. Он всходил на кафедру и уговаривал студентов разойтись, приводя самые убедительные доводы. Помню, как отец, наскоро захватив с собой кусок булки, торопливо ушел из дому, узнав о сходке, и пробыл на ней часа три. Не помню, удалось ли ему в этот раз успокоить студентов (иногда это ему удавалось), но он пришел домой страшно усталый и охрипший от крика. По поводу сходов он часто рассказывал нам за поздним обедом разные комические подробности: вот будущий профессор Введенский, известный впоследствии своими прекрасными лекциями по философии в университете и на Высших женских курсах¹⁰. Как большинство семинаристов, он был то, что называлось тогда «красный», или «радикал». Еще до начала сходки отец видел его сидящим в вестибюле на вешалке в красной рубашке, что-то восклицавшим в полном азарте. Какой-то восточный человек, стоя на месте, повторял монотонным голосом: «Прова человека, человека прова». А один из друзей нашего дома, давший слово не выступать на сходках, сказал отцу: «Андрей Николаевич, я только скажу товарищам несколько слов», – и, взойдя на кафедру, разразился горячей, длинной речью.

⁹ Имеется в виду национализация ценностей, в том числе и принадлежащих частным лицам, хранившихся в банках.

¹⁰ Александр Иванович Введенский (1856–1925) – философ, профессор Высших женских курсов и Петербургского университета.

Таковы были отношения отца со студентами. Его любили также и товарищи профессора. Я не скажу, чтобы е него были среди них близкие друзья, но отношения с большинством были очень хорошие. Профессора не только поддерживали его начинания, но были и лично к нему расположены, так как в трудных случаях жизни он всегда приходил к ним на помощь. Нужно ли было выхлопотать какое-нибудь экстренное пособие в случае тяжелой болезни или взять на поруки попавшего в дом предварительного заключения профессора, – отец всегда добивался нужного результата своим настойчивым и горячим предстательством перед властями. Он шел и дальше: заботился об университетских чиновниках и сторожах, выхлопывал им награды и пособия. Не было той прачки в университете, которая не была бы обязана ему какой-нибудь особой льготой. Я не говорю уже о его пленительно милым обхождении, которое пленяло всех, кто имел с ним дело. До сих пор еще помнят его оставшиеся в живых сторожа его времени. Один из них, узнав, что я жива, послал мне поклон через одну из моих родственниц, которая случайно с ним встретилась. Все, кто помнят моего отца, поминают его только добром и говорят о нем с чувством особого уважения и симпатии. Большинство студентов любило и уважало отца за его смелость, доброту и горячее отношение к их интересам. Ведь он был не только всегда доступный и доброжелательный ректор, но также и инициатор многих полезных начинаний, касавшихся студентов. Он выхлопотал им многие льготы по части корпоративного начала, устроил дешевую студенческую столовую и библиотеку. Нечего говорить, что он часто ссужал их деньгами – по большей части без отдачи. Не довольствуясь всеми этими конкретными действиями, отец выступал в качестве защитника студенчества и в печати на страницах газеты «Голос», считавшейся в то время очень либеральной. Он же написал обширную статью о положении студентов. В ней есть интересные сведения об их быте. Между прочим, отец доказывал в этой статье, что причастность русских студентов к польскому мятежу – совершенный миф, созданный реакционерами во главе с Катковым¹¹. Все это вместе создало ему большую популярность среди студентов. Помню, как на одной из суббот, кажется, в день его именин или рождения, студенты кричали: «Да здравствует отец студентов Андрей Николаевич!» Кто-то в толпе прибавил: «И мать их – Елизавета Григорьевна!» – что встретило также всеобщий восторг. На одном из ежегодных студенческих балов, даваемых в актовом зале, присутствовали и мы, сестры Бекетовы. Помню, как появление отца вызвало всеобщее волнение. Студенты сторонились, давая ему дорогу и повторяя «Ректор!», «Ректор!» А немного погодя его подхватили на руки и начали качать. Этот безобразный и варварский обычай тогда был очень в моде. Я всегда с ужасом смотрела на тех несчастных, которых подвергали этой пытке, желая выказать им свое сочувствие.

¹¹ Михаил Никифорович Катков (1818–1887) – публицист, редактор реакционной газеты «Московские ведомости».

Глава III

Мать

Мать моя была женщина чрезвычайно своеобразная и обаятельная. Обаяние это заключалось не в наружности, а в ее уме, характере и манере себя держать. В молодости она была миловидна и довольно стройна при среднем росте, но когда пошли дети, она очень скоро бросила корсет и всякие ухищрения. Поэтому ее фигура расплылась и потеряла всякую стройность. Лицо у нее было не красивое, но приятное, это совершенно не видно на ее photographиях. У нее были ясные голубые глаза, гладкие каштановые волосы и очень белые зубы. Цвет лица ее портила экзема. У нее была милая улыбка, небольшие, белые, очень сильные руки, живые движения и звонкий голос. Одевалась она всегда очень просто, без всяких претензий, но была очень опрятна и любила духи и хорошее мыло с тонким запахом. Когда были деньги, душилась «Violette de Parme», вообще же мало тратила на свои наряды и носила простое белье, сшитое своими руками. Я помню в детстве несколько ее шелковых платьев, купленных в Париже во время ее пребывания там вместе с мужем в 60-х годах. Все это были цельные платья без юбок со шлейфом фасона «princesse» по тогдашней моде. Самое нарядное было черное атласное, к которому надевался отложной воротник из белого гипюра и флорентийская мозаичная брошка в золотой оправе: белая роза на черном фоне. Ни драгоценных колец, ни брошек с камнями мать не носила, она все это раздала детям. Лет через десять остатки шелковых платьев пошли на лоскутья для краски яиц, а мать стала носить простые шерстяные платья, по большей части черные кашемировые: юбка и длинный «тюник». Она рано стала носить «шиньон» и черные кружевные косынки, которые назывались в то время «fenchons». Отец тоже одевался просто: черный сюртук и простой черный галстук.

В 60-х и 70-х годах вообще одевались гораздо проще, чем в последующие годы – до революции.

Отличительной чертой моей матери была телесная и духовная бодрость. Она не признавала уныния и скуки. Если кто-нибудь из нас в детстве жаловался на скуку и куксился, она говорила: «Как это можно скучать? Займись чем-нибудь». Сама она всегда была занята и разбивала вокруг себя праздничную и светлую атмосферу. Отец мой был тоже праздничный человек, но в матери эта черта проявлялась еще гораздо ярче. По силе характера, по яркости индивидуальности и по жизненности своей она была еще значительней отца, от нее веяло какой-то необычайной свежестью. Любо было смотреть на нее, когда она шьет, кроит, вышивает в пальцах, варит варенье. Всякую работу она делала быстро, ловко, отчетливо, смело и весело. Отчасти это происходило, разумеется, оттого, что у нее были очень сильные руки и быстрая сметка, но тут хороша была не только внешняя сторона дела, а также и дух, которым проникнута была ее работа.

В матери поражало ее необычайное богатство натуры и какая-то общая даровитость, которая выражалась во всем, что она делала. Не будучи ни писательницей, ни общественной деятельницей, она проявляла эту даровитость в жизни. У нее был редкий дар слова и большой юмор. Речь ее отличалась образностью и самым блестящим остроумием. Она сыпала острыми словцами и смелыми афоризмами, рассказывала с большой живостью и писала письма, как говорила. Способности у нее были блестящие, память изумительная: она одинаково хорошо запоминала стихи и отрывки прозы, разнообразные факты – как научные, так и житейские: названия мест, растений, зверей, имена и фамилии, цифры. Не получив никакого систематического образования, не имея понятия, например, о грамматике, она вполне правильно писала по-русски, по-французски, по-английски и по-немецки. Она свободно говорила на всех этих языках и еще по-итальянски, читала и по-испански. Французский язык ее

отличался разнообразием и правильностью оборотов. Она знала по книгам много исторических и географических фактов. Имея чрезвычайно верный глаз и твердую руку, она очень точно срисовывала с оригинала и могла нарисовать сама незатейливые картинки. В детстве у меня была азбука, нарисованная ею, с раскрашенными картинками, изображавшими разные предметы, на все буквы алфавита: арбуз, барана, петуха, девочку и т. д. Я очень любила эту книжку и до сих пор отчетливо помню многие рисунки: они были не художественны, но живо изображали требуемые предметы.

Литературу мать моя чрезвычайно любила, она знала русских классиков, что называется, на зубок, беспрестанно их цитировала и помнила наизусть, например, весь пушкинский «Домик в Коломне» и многие мелкие стихотворения других русских поэтов. Знала она также и иностранную литературу, помнила наизусть в подлиннике некоторые баллады и лирические стихотворения Шиллера, многие стихи Гейне и Виктора Гюго. Сама она писала стихи с большой легкостью. У меня в руках было много тетрадей ее юношеских стихов. Они были гладки по форме, но лишены этой яркости и оригинальности, которой отличалась их авторша в разговоре. Я не раз замечала, что остроумные и очень умные женщины, обладавшие юмором и даром рассказывания, не обладали литературным талантом.

В зрелом возрасте мать писала только юмористические стихи, и очень удачно. Она написала раз очень милую детскую сказочку для «Вестника», издаваемого 13-летним Блоком, но это было не более как остроумная шутка в духе русифицированного Андерсена.

Литературность нашей семьи, то есть склонность к литературе, понимание ее красот и любовь к слову и форме шла целиком от матери. Она влияла в этом смысле не только на нас, но и на отца. Многие из русской классической литературы мы узнали в ее чтении. Она мастерски читала вслух Гоголя, Островского, Слепцова, особенно юмористические места. В пору нашего детства и ранней юности еще был сильно распространен в семьях обычай чтения вслух, который теперь, кажется, совершенно вывелся из употребления. Литературное чутье нашей матери выразилось, между прочим, в том, что она не возомнила себя писательницей. Она вполне довольствовалась ролью переводчицы и переводила с наслаждением и необычайной быстротой, свободно, ярко, живо, с великим разнообразием оборотов, но далеко не точно. Один из лучших и наиболее точных ее переводов – «Сентиментальное воспитание» Флобера, вышедшее в издательстве Пантелеева в 90-х годах прошлого века. Его очень ценил ее внук Александр Блок. Очень хороши ее переводы Вальтер Скотта, Диккенса и Теккерея. Стихотворные переводы тоже ей удавались.

Замечательно то, что, не имея никаких научных знаний, она каким-то верхним чутьем, по интуиции очень многое понимала. Незадолго до смерти она писала по заказу Карбасникова биографии английских механиков Стефенсона, Нэтсмита и Мотслея. Она работала по Смайильсу, имея в руках подлинник, в котором было много технических терминов. Мать моя не избегала этих трудностей, но, кончив работу, позвала знакомого специалиста, прося его проверить ее текст. «Посмотрите-ка, душечка, не наврала ли я чего-нибудь во всех этих кривошипях?» – сказала она. Но специалист нашел, что все вполне правильно и ясно написано.

Между прочим, мать моя была страстная музыкантша. Никогда не учась, она бойко играла на фортепьяно такие вещи, как сонаты Бетховена, ноктюрны и вальсы Шопена и прочее. Она хорошо разбирала и многое знала наизусть. Но самое замечательное – это то, что она, не имея понятия о теории музыки, даже элементарной, вполне правильно перекладывала любую пьесу в другие тона – работа, с которой далеко не всегда справляются ученики консерватории. Вкусы ее соответствовали ее времени и воспитанию, хотя некоторые из них были передовые. Из русских прозаиков она предпочитала Гоголя и Тургенева, Толстого любила меньше, Достоевский был ей во многом чужд, но она очень любила «Идиота». Из поэтов ее любимцем был Пушкин, но она ценила и знала и других классиков, а из новых для своего времени любила не только Полонского и Майкова, но и Фета, которого еще в 80-х и

90-х годах признавали только очень тонкие ценители литературы. Из иностранных писателей она, как истый романтик, особенно любила Виктора Гюго, к чести своей предпочитая его стихи Ламартину. Очень любила она также Диккенса и Вальтер Скотта. Шекспира любила страстно. Из немцев ее любимцами были Шиллер и Гейне. Вообще же она предпочитала романские народы, особенно испанцев и итальянцев. Немцев она презирала, немецкий язык терпеть не могла <...> Вторую часть «Фауста» она совершенно не признавала и говорила, что «тайный советник Гете написал его для того, чтобы подурочить немцев». Совершенно упуская из виду высоко ценимую ею немецкую поэзию и музыку, она уверяла, что самое подходящее занятие для немца – это быть аптекарем или настройщиком, а, впрочем, когда приходил настраивать ее фортепьяно старый настройщик Крайузе, она разговаривала с ним по-немецки и неизменно кормила его завтраком, так что он уходил совершенно очарованный ее радушием и добротой. Относительно музыки у матери были очень определенные взгляды. Она считала, что главное – это вокальная музыка, инструментальная есть суррогат музыки, но все же очень любила немецких классиков и Шопена. Шумана она не любила, почему-то признавая «Манфреда» и одну маленькую пьеску. Баха совершенно не переносила, но узнавала его с первой ноты. Больше всего любила до обожания итальянские оперы и песни Шуберта. Русскую музыку, особенно кучкистов, она презирала, но впоследствии внезапно пленилась Чайковским, который в наше время считался трудным и мало понятным. Вагнера она, разумеется, ненавидела, так сказать, по принципу. Надо припомнить, что его не понимали ни Антон Рубинштейн, ни Чайковский. Однажды произошел такой случай: старшие сестры поехали в Итальянскую оперу слушать «Лоэнгрина» с тенором Нувелли, знаменитым по исполнению этой роли. Вернулись совершенно очарованные музыкой Вагнера и сюжетом. Мать встретила их на пороге словами: «Несчастные! Каково вам было?» На это сестра моя Софья Андреевна, на которую опера произвела особенно сильное впечатление, ничего не сказала, но залилась слезами, так была она оскорблена в своих чувствах. По правде сказать, мать даже и не знала музыки «Лоэнгрина», когда она так огорчила своих дочерей. Впоследствии она сама полюбила некоторые арии из этой оперы, которые она слышала в фортепьянной аранжировке Листа. Но все же до конца своих дней она больше всего любила итальянские оперы и «Фауста» Гуно.

Мать моя была женщина очень увлекающаяся, восторженная и непосредственная. Ум у нее был блестящий, гибкий, сверкающий остроумием, но чисто женский. Она не отличалась ни логикой, ни последовательностью, ни глубокомыслием. Беспристрастие ей тоже не было свойственно, да она за ним и не гналась, считая, что терпимы бывают только холодные люди. Она говорила сама про себя: «Я, слава богу, не беспристрастна». Судила мать часто неосновательно или поверхностно, но ее суждения всегда были самостоятельны, она нигде их не заимствовала и была до такой степени полна своим собственным содержанием и интересами, что друг нашего дома, глубокомысленный гегельянец П. А. Бакунин, который был на «ты» с моими родителями, сказал про нее: «Лиза сама себе суффацирует».

Характер у матери был очень сильный: она стоически переносила физические страдания и редко падала духом. И не могу себе представить, что могло бы сломить ее бодрость. Вкусы у нее были простые, к еде она была невзыскательна и довольствовалась самым простым столом, причем очень долго могла не есть и совсем забывала о еде за интересной работой. Она была прямодушна, откровенна, честна, не способна была ни позавидовать, ни сознательно кому-нибудь повредить, хитрости и коварства в ней тоже не было, но язык у нее был беспощадный. Можно сказать, что она была добра, но далеко не добродушна. Она могла часами возиться со скучными просительницами и с деревенскими бабами, щедро раздарилая им свои незатейливые капоты, но очень зло подшучивала над пошлостью, глупостью и

педантизмом. Очень не жаловала она педагогов, в особенности смеялась над Фребелем¹², считая его тупым педантом. Но, впрочем, и сама педагогика была ей глубоко чужда, как всякая систематичность и учеба. Эти черты повторились в ее дочери Александре Андреевне с той лишь разницей, что мать несколько не интересовалась философией, но любила историю – правда, больше по романам и мемуарам. Александра Андреевна презирала историю и ею не интересовалась, но имела большую склонность к философии, что замечалось в отце и всегда проявлялось в его научных работах. У матери нашей был ум неотвлеченный. Ее влекло преимущественно к искусствам, особенно к литературе, музыке и театру. Последний она любила страстно и эту страсть передала двум младшим дочерям; старшие театр любили, но не с таким самозабвением, как мы с Александрой Андреевной. Отец легко обходился без театра и в особенности без музыки, хотя было время, когда он охотно посещал французский театр и с удовольствием слушал итальянскую оперу. В концертах он не бывал, инструментальная музыка была ему чужда, а к фортепьяно относился он со скукой. Мать же, при всем своем пристрастии к вокальной музыке и в особенности к итальянцам – благоговела перед Бетховеном и вообще любила немецких классиков. Свою страсть к музыке, пожалуй, еще усиленную, мать полностью передала мне. Это объясняется, вероятно, тем, что перед самым моим рождением она была музыкальным рецензентом какой-то газеты и имела два абонемента в итальянской опере. Как известно, в те времена (начало 60-х годов) итальянская опера стояла необычайно высоко в смысле исполнения. Тогда блистали Тамберлик, Кальцолляри, Бозио, Лукка, Эверарди¹³ и т. д.... Я с раннего детства чувствовала необычайное влечение к музыке, но вкусы мои, вначале совершенно схожие с материнскими, впоследствии развились в другую сторону, приняв сообразно моей натуре более отвлеченный характер. Я не только особенно любила инструментальную музыку и, в частности, Баха и Шумана, а позднее Вагнера и новую музыку, но еще и со страстью занималась теорией музыки, что приводило мою мать в полнейшее недоумение: «Зачем тебе это?! – говорила она. – Разве не довольно играть и слушать?» Интерес к отвлеченной стороне явлений науки и искусства был ей совсем не понятен, но зато сторона жизненная, образная, фантастическая была ей бесконечно близка и интересна. Ее особенно пленяла живописная, поэтическая сторона жизни. За красоту, за талант, за поэтичность – в чем бы и где бы они ни проявлялись – она готова была отдать и простить все на свете.

Перехожу теперь к семейным отношениям матери. Про нее можно сказать, что она была прежде всего человек и личность, а потом уже мать и жена. Она не уходила в семью с головой, не отдавала ей все свои силы и чувства и не была из тех женщин, которые способны обезличить себя ради семьи. Во многом расходясь с мужем, она была к нему привязана, но он не был для нее идеалом и непогрешимым авторитетом. У них бывали несогласия, но никогда не бывало ссор. Дети могли только подозревать, что между ними есть рознь или нелады, но они никогда не делали их свидетелями своих внутренних драм и никогда не жаловались друг на друга.

Детей мать очень любила. Она много возилась с нами, когда мы были маленькие: сама нас кормила, купала, одевала и обшивала, но когда мы подросли, она уже меньше о нас заботилась, хотя во время наших болезней она ухаживала за нами неотступно, умело и весело, помогая переносить все страдания и томления болезни и лечения. Вообще же она не окружала нас неусыпными заботами и способна была пренебречь своими материнскими обязанностями ради интересного разговора, развлечения или занятия. Но зато как весело было с ней, когда она нами занималась, да и вообще у нас в доме всегда было весело, и причиной

¹² Фридрих Фребель (1782–1852) – знаменитый немецкий педагог.

¹³ Энрико Тамберлик (1820–1888), Анджелина Бозио (1824–1859), Паулина Лукка (1844–1908), Камилло Эверарди (1825–1899) – известные певцы.

этого была главным образом мать, потому что дух дома зависит главным образом от хозяйки. В матери была не малая доля здорового легкомыслия и громадная любовь к жизни. Конечно, она делала ошибки и многое упускала, но то, что она не насиловала себя ради семейного долга и оставалась сама собой, вероятно, и было причиной той неиссякаемой жизненности и молодости духа, которыми она отличалась всю жизнь, не исключая тяжелых и долгих годов ее последней мучительной болезни.

А вот домашнего хозяйства мать моя не любила и не умела ни смотреть за кухарками, ни угождать мужу хорошим столом, ни беречь копейку. Сама она выросла в небогатой семье и не знала роскоши. Отец воспитался в богатом помещичьем доме, в широких условиях степной деревни и был очень взыскателен насчет стола. Мать моя не умела к этому примениться и при плохом столе все же тратила много денег. Поэтому решено было в семье, что домашнее хозяйство возьмет в свои руки старшая дочь Катя, которая чуть не с 20-ти лет взяла на себя это трудное дело и отлично с ним справлялась. При ней неумелые поварихи сменились более искусными кухарками, которых она умела научить и направить, меню обедов и завтраков стало более изысканным, а денег все же хватало. Где она всему этому научилась, неизвестно, но таланты ее были признаны всеми и прежде всего самими родителями.

Ко всем своим дочерям мать относилась различно. Всех дальше она была со второй дочерью, Соней (Софьей Андреевной): у них были слишком разные натуры. Соня отличалась непреклонной принципиальностью и не признавала никаких отклонений от долга. Она доходила в этом отношении до крайности, впадая в пуританство; наша бабушка со стороны матери говорила про нее: «Сонька всегда с принципами ходит». Всякое легкомыслие было чуждо сестре Софье Андреевне. Оно вызывало в ней раздражение и протест. Она считала, что у матери не должно быть своей жизни, а к жизни вообще относилась довольно сурово. Катя была любимицей матери, но после ее ранней смерти особой нежностью и восторженным обожанием пользовалась сестра Александра Андреевна. Со мною у нее были наиболее ровные и близкие отношения. Мне она уделяла в детстве больше всего забот, так как я была самая слабая и в 4 года выдержала опасную болезнь, а после замужества сестры Екатерины Андреевны у нас с матерью установились совсем особые дружеские отношения, которые особенно укрепились во время ее болезни и паралича отца. Эти годы для меня были чрезвычайно трудны, но мать была поистине моим добрым гением в то тяжелое время, когда мне приходилось проводить целые дни с парализованным отцом, впавшим в детство и лишенным ног и языка, ухаживать за больною матерью и нести тягость всех домашних обязанностей и отношений при очень слабом здоровье. Но об этом я скажу подробнее ниже. Теперь же прибавлю, что все мы очень любили отца, но мать обе старшие сестры, особенно Катя, любили гораздо меньше. Нам с Александрой Андреевной мать была ближе, и мы любили ее еще больше, чем отца, в особенности в старости. Нас сближала с ней не только ее любовь к дорогому для нас искусству, но также и взгляды на жизнь. Бекетовское начало, как строго семейственное, было нам менее близко чем свободные и широкие взгляды матери. Отец наш, конечно, не был ригористом, но его идеалом была семья, а мать наша смотрела иначе и не считала семью главнейшим и неизменным условием счастья.

Что касается ее политических взглядов, то они были отчасти консервативные, она была монархистка и ярая западница, смеялась над славянофилами, не терпела квасного патриотизма и даже не любила Москву. Общественной жилки у нее не было, но при монархических убеждениях она отличалась полной независимостью и никогда не умилялась перед царской фамилией и титулами – в противоположность монархистам и в особенности монархисткам ее времени. Она была вообще независима, жила, как ей нравилось и казалось нужным, но в некоторых случаях она покорялась общественному мнению, то есть уговорам семьи. По настоянию мужа и дочерей она делала визиты – занятие, которое она ненавидела, считая его бессмысленным и совершенно ненужным.

Будучи вообще веселого и ровного нрава, она в таких случаях начинала сердиться и проделывала процедуру визитов, что называется, сцепя зубы. Зато, вернувшись домой после этого тяжелого и несносного для нее занятия, она развлекала нас, довольно-таки зло подшучивая над разными дамами, у которых она была, и великолепно изображала их в лицах. Ни светского лоска, ни светского лицемерия у матери не было. Ей стоило великих трудов быть любезной с теми, кого она не любила. Случалось, что дочери уговаривали ее получше принять какую-нибудь неприятную ей особу. Она отказывалась выйти к ожидаемой гостье и, сдаваясь наконец на наши доводы, она в заключение угрожала: «Вам же будет хуже!» Это значило, что нам будет неприятно смотреть на ее усилия казаться любезной, и действительно: это выходило у нее до того неестественно и фальшиво, что мы не знали, куда нам деться. Но зато с теми, кто ей нравился, она была бесконечно радушна, проста, ласкова и мила, причем походя рассыпала блески своего остроумия и вела себя с полной непринужденностью: шила, вышивала и раскладывала пасьянсы в присутствии гостей и, не стесняясь, подшучивала, например, над Д. И. Менделеевым, который очень любил ее общество. Обращение ее было чрезвычайно просто и тепло. Она умела, что называется, пригреть, а также приручить самого застенчивого человека. В ее присутствии все чрезвычайно быстро осваивались и чувствовали себя, как дома. Никаких церемоний она не признавала и быстро умела войти в доверие человека, но все это при том условии, если он был ей симпатичен и она не чувствовала в нем предубеждения. Приведу один случай.

На наших субботних вечерах во времена ректорства отца она всегда разливала чай. На одной из первых суббот появился в числе студентов некий провинциал сумрачного вида, бедно одетый и дико застенчивый. Он сидел близко от матери; когда она предложила ему чай и булки, он молча взял стакан и сказал свирепым тоном, не глядя на хозяйку: «Я булки не ем». Это ее насмешило, но ничуть не обидело. Она быстро приручила этого дикаря. Вскоре дело дошло до того, что она уговорила его вымыть руки, для чего повела в свою комнату, а немного погодя пригласила его к воскресному завтраку. «На пирог позвала», – сообщил он мне с чрезвычайно довольным видом и очень скоро сделался одним из завсегдатаев нашего дома. Это был первый жених сестры Александры Андреевны – Михаил Федорович Шутц, человек очень демократического склада, без всяких манер, презиравший щегольство и носивший вместо пальто плед коромыслом – не столько по бедности, сколько из принципа, так как в 70-х годах плед коромыслом был одним из признаков радикальных убеждений. Рассказы об этом студенте, из которого вышел впоследствии дельный чиновник, вероятно, послужили основой для типа мужа старшей сестры в «Возмездии». Краски стущены, и тип более ярко и выпукло очерчен, но в облике много общего. Я не выдаю, однако, эту догадку за факт. Облик мужа старшей сестры в «Возмездии» вообще очень типичен для того времени и, быть может, только случайно совпал с обликом Шутца.

Но я отвлеклась от личности моей матери.

Ее вообще очень любили и притом самые разнообразные люди, начиная с маститых профессоров и философов, вроде братьев Бакуниных, и кончая всевозможной молодежью – родственной и неродственной. У нас часто жила в доме разные молодые родственницы и друзья, бывшие, так сказать, на положении родственников. Все они чрезвычайно веселились с «тетей Лизой». Бывали, впрочем, и исключения. Ригористы и в особенности ригористки не любили нашу мать за легкомыслие и неточность в передаче фактов и, не понимая того, что это делалось у нее совершенно произвольно и происходило от чересчур живого воображения, принимали это за лживость.

В людях мать моя мало понимала. При всем ее уме и жизненности ее так же легко было провести и одурачить, как и моего умного отца, вращавшегося в большом и разнообразном обществе. Оба они были в этом отношении совершенно дети, а мать моя еще довершала эту черту романтизмом и восторженностью, мешавшими ей трезво смотреть на вещи.

Еще могу сказать, что родители мои отличались полной непрактичностью, они не умели ни выгодно устраиваться, ни копить добро. Правда, они и не стремились к богатству и ценили духовные блага гораздо больше материальных, а, кроме того, у них не было ни тщеславия, ни ложного стыда, что еще способствовало тому, что они не тянулись за роскошью и вообще чуждались внешнего блеска.

Я закончу эту главу двумя эпизодами, которые ярко рисуют бесконечную доверчивость моих родителей и их наивное отношение к жизни. Второй из них относится к сестре Екатерине Андреевне и имел большое влияние на ее жизнь, описанием дальнейшего хода которой я погрешу против всех правил хронологии, т. к. начало отрывка относится ко времени моего детства, а конец перебрасывается уже к детству Блока. (Дальнейшую историю сестры Екатерины Андреевны следовало бы поместить во II-ом томе, но, не надеясь кончить его при моей жизни, я помещаю эту главу в I-ом томе).

В начале семидесятых годов мать моя поехала лечиться в какой-то немецкий курорт, кажется, Шлягенбад. Однажды, когда ей сильно нездоровилось и она сидела дома, к ней зашла некая дама, которая встречалась с ней в парке и у источников. Дама была русская. Ее звали Анна Дмитриевна Лебедева. Она почему-то выдавала себя за польку, хотя ни имя ее, ни выговор¹⁴.

Она высказала матери участие, они разговорились и подружились. Узнав, что Анна Дмитриевна живет в Петербурге, мать пригласила ее бывать у нас, что та сделала по возвращении в город. Это была женщина не первой молодости, с высокой и стройной фигурой и некрасивым, но приятным лицом. Одевалась она всегда скромно, но со вкусом, в хорошо сшитое черное платье. Она бывала у нас довольно часто и во всякое время и особенно сошлась с Асей. В те времена мы были плохо одеты – не столько по недостатку средств, сколько потому, что у матери не было вкуса такого рода. Шила на нас очень плохая портниха, а мать не умела ее научить ни выбирать фасон, ни скрасить наши наряды. Анна Дмитриевна приняла большое участие в этом вопросе. Она умела шить и кроить и из недорогих матерьялов могла создать изящный костюм, а также дешево купить материю и к лицу причесать. Она многому научила нашу сестру Катю, которая впоследствии стала нашей законодательницей мод. Все мы полюбили Анну Дмитриевну. Она держала себя с большим тактом, была далеко не глупа, но разговор ее касался исключительно обыденных тем. О прошлом своем, да и вообще о себе она никогда не говорила, если не считать нескольких анекдотов из ее ранней юности. Вообще в ней не было ничего выдающегося, но также и ничего вульгарного и неприятного. Хорошо, кабы наши профессорши того времени держали себя так, как она. Между прочим, не будучи литературно образованной, она удивила нас тем, что в тетрадку Аси, предназначенную для стихов различных поэтов, она вписала наизусть два стихотворения: «Первая дружба» неизвестного поэта (?):

Я помню отрока с кудрявой головой,
С большими серыми и грустными глазами...

и «Магдалину» Огарева. Последнее стихотворение – слабое, но очень длинное – заняло почти пять страниц и написано очень изящным почерком и вполне грамотно с обозначением даты – 1873-ий год, февраля 23-го дня.

Вполне приличный облик Анны Дмитриевны как-то не вязался с рассказами матери, что ее новая приятельница часто просила ее писать своей рукой таинственные письма, в которых она назначала свидания в маскарад. Мать находила это очень романтическим и интересным, и ни ей, ни отцу нашему не приходило в голову, что порядочная дама не станет

¹⁴ Так в тексте.

писать таких писем. Впоследствии оказалось, что Анна Дмитриевна принадлежала к числу так называемых «дам полусвета», но это было открыто не умудренными годами родителями, а молоденькой сестрой Катей. Как именно это произошло, я не сумею сказать, хотя ясно помню, что это было именно так, и после этого Анна Дмитриевна как-то незаметно перестала у нас бывать и вообще скрылась с нашего горизонта.

Но это еще куда ни шло. Мало ли с кем можно познакомиться на водах, да и приличный вид и общее поведение Анны Дмитриевны могли ввести в заблуждение. А вот другой эпизод, уже совсем из ряда вон и, наверное, мог случиться только в нашем семействе. Он произошел в 1873 году. Жили мы тогда на профессорской квартире, выходившей окнами в университетский сад, растянутый вдоль всего здания университета со стороны улицы. Вход в квартиру был со двора, в конце университетской галереи. Она была в четвертом этаже и состояла из 4-х больших комнат в два окна и пятой – в одно, которые шли анфиладой. В светлый коридор с громадными окнами во двор, в который попадали с лестницы, выходила только кухня да парадный вход. Комнаты шли в следующем порядке: сначала четыре больших – кабинет отца с перегородкой в глубине, за которой была устроена спальня, потом гостиная, за ней столовая, где отделена была перегородкой другая спальня, менявшая своих постояльцев; за столовой шла комната, где жили в описываемое время мы с Асей. Спали мы за драпировкой в глубине комнаты вместе с няней покойной сестрицы Лили, а в свободной части готовили уроки за большим столом, стоящим посередине боком к окнам. Последняя комната в одно окно тоже служила спальней то одним, то другим членам семьи.

У отца в кабинете был хороший письменный стол лакированного ореха с колонками, большой диван, крытый шерстяной материей, тоже отделанный гладким орехом, с двумя откидными полочками по бокам, тот самый, что стоял в кабинете Блока, когда он женился, и теперь еще стоит у Любви Дмитриевны в числе тех вещей, которые сохранились от того времени, когда жил и умер в этой комнате Блок.

На этом спокойном и мягком диване я еще маленькой девочкой лет 7-ми – 8-ми любила сидеть в отсутствие отца, когда он был на лекциях или в правлении по университетским делам, а я возвращалась из гимназии. Придя домой вместе с сестрами, я выпрашивала у кухарки большой ломоть черного хлеба, посыпанный крупной солью, брала какую-нибудь книгу и, примостившись в углу дивана, ближайшего к окнам, читала и с наслаждением поела хлеб, т. к. до обеда было еще далеко. В кабинете отца были, конечно, шкафы с научными и полунаучными книгами вроде Брэма, по большей части на иностранных языках. Перед письменным столом стояло то самое кресло с высокой спинкой, оправленное в гладкий орех, которое перешло потом к Блоку. Гостиная была самая уютная комната. В ней был белый мраморный камин и стояла хорошая мягкая мебель, крытая красной шерстяной материей; помнится, было три дивана, а посередине стоял большой четырехугольный стол, покрытый пестрой шерстяной скатертью, вокруг которого стояли мягкие стулья. Перед одним из диванов был овальный стол гладкого ореха с гнутыми ножками, покрытый бархатной скатертью, вокруг него стояло несколько кресел, а под ним лежал ковер, состоявший из нескольких полос, вышитых матерью шерстями. На черном фоне отчетливо выделялись разноцветные розы вперемешку с лиловыми и белыми цветами. Играя на этом ковре еще до гимназии, мы с сестрой Асей выбрали себе по любимой розе: ее была ярко-розовая, вся раскрытая, а моя бледно-розовая, с чашечкой, томно опущенной вниз. Между окнами, в очень большом простенке, стояла то самое piano carré (четырехугольное фортепьяно) темного дерева, которое попало впоследствии в Шахматово. В столовой стоял посередине громадный ореховый стол, нарочно заказанный отцом как можно тяжелее, чтобы играющие дети не могли его повалить. Это была, конечно, излишняя предосторожность, т. к. мы с сестрами были не настолько сильны и резвы, чтобы повалить даже обыкновенный стол. У одной из стен стоял большой буфет гладкого ореха, а у другой, боком к окну, тот самый письменный стол матери

семейства с колонками и зеленым сукном, который служил впоследствии Блоку и до сих пор остался у Любови Дмитриевны. В гостиной и в столовой висели над средними столами одинаковые, конечно, керосиновые лампы желтой бронзы – очень светлые, с широкими колпаками из белого фарфора, купленные в лучшем тогда магазине Штанге.

Случай, о котором я буду рассказывать, произошел поздней осенью или зимой 1873 года, когда сестре Кате было лет 18, Соне около 16-ти, Асе около 13-ти, мне около 12-ти. Из молодежи бывали у нас подруги сестер и несколько молодых людей, только что кончивших курс в Университете, все естественники. Очень часто бывала подруга старших сестер Лиля Филиппова, очень хорошенькая и кокетливая блондинка лет 16-ти. Она была умная, живая и очень веселая девушка, но воспитана в атмосфере, которая была далека от нашей наивности и полного незнания жизни. Отец Лили был, кажется, товарищ по университету отца, мать – француженка. Это знакомство завелось в Тифлисе, когда отец учительствовал в этом городе. В описываемое время Филиппов был далеко еще не старый, красивый и мужественный брюнет. Он управлял домами князя Паскевича. Получал хорошее жалованье и казенную квартиру, так что жили Филипповы довольно открыто. Мать Лили была женщина совершенно неинтересная, вялая, слабая, довольно бесцветной наружности, но изящная. Отношения супругов Филипповых были довольно странные: любовник жены открыто бывал у них в доме, и, по-видимому, муж ничего не имел против этого. Вероятно, у него были свои связи на стороне. У Филипповых часто устраивались танцы, бывали гимназисты старших классов и юнкера Инженерного училища. Два из них стали бывать и у нас – главным образом ради танцев. Лили говорила по-французски так же свободно, как и по-русски. Она кончала курс в той казенной гимназии, где учились и мы, и после классов частенько заходила к нам, оставалась на весь день, даже с ночевкой. Дома-то в обычное время было скучновато, а у нас ей было весело. Она мило болтала о пустяках и внесла в наш дом совершенно новую легкомысленную струю, которая выразилась в усиленном интересе к туалетам, танцам и легкому флирту. Разговоры ее с моими старшими сестрами постоянно вертелись вокруг молодых людей ее круга, а также артистов. Старшие сестры часто были вместе с Лилей в ложе Филипповых в итальянской опере, которая помещалась тогда в давно не существующем Большом театре против Мариинского. Итальянская опера была тогда казенная, и труппа ее состояла из лучших певцов того времени: молодая Патти¹⁵, не очень блистательный, но очень хороший лирический тенор Гайер, великолепный бас Багаджиоло, только еще начинающий прекрасный баритон Котоньи и др. Между прочим, был там заметный второй тенор, некий испанец Сабатэр. У него был большой голос без особого обаяния, которым он хорошо владел, он свободно держался на сцене, недурно играл, но главное – поражал выдающейся красотой. Сестры Катя и Соня, а также Лили Филиппова обратили на него внимание, и, конечно, он был не раз предметом их разговоров, в которых принимала участие главным образом бойкая Катя. Соня больше помалкивала, тем более, что она была увлечена в то время юнкером Жоржем Колобовым, скромным и миловидным блондином, отличавшимся выдающимися успехами в науках и образцовым поведением, который бывал у нас вместе с сестрой, а иногда и с мамашей. Это было почтенное, но довольно скучное семейство. Товарищ Жоржа, Богомолов, некрасивый, но веселый и более мужественный – больше нравился Лиле, но они флиртовали с обоими.

Сезон итальянской оперы был в полном разгаре, когда сестра Катя, гуляя одна по Невскому или Б. Морской (ныне улица Герцена), встретила красивого тенора, который и в обыкновенном виде показался ей не менее интересным, чем в гриме и в эффектных оперных костюмах. Будучи очень непосредственной и наивной и совсем не умея себя держать, она ему улыбнулась. Он, разумеется, принял ее за особу легкого поведения, а т. к. она была очень

¹⁵ Аделина-Мария-Жанна *Патти* (1843–1919) – знаменитая певица.

молода и недурна собой, то он пошел за ней и вступил с ней в разговор на французском языке, впрочем, вполне приличный по форме. Совершенно не подозревая, в чем дело, она сочла его поведение за дань своей исключительной привлекательности. Расставшись с тенором недалеко от нашего дома, она дала ему понять, что он может встретить ее и завтра в такой же час, а придя домой, вполне откровенно рассказала о своей встрече всем членам семейства, причем ни мать, ни отец и не думали ее срамить. Отец был крайне польщен вниманием артиста и, вместо того чтобы объяснить ей, что нельзя улыбаться на улице незнакомым мужчинам, радовался вместе с ней ее воображаемому успеху. Прогулка с тенором повторилась, и дело кончилось тем, что отец послал ему через Катю свою визитную карточку с приглашением бывать у нас в доме. Артист принял приглашение и назначил вечер, когда он к нам явится в первый раз. Все мы были воспитаны матерью в тех понятиях, что Испания есть страна плащей, серенад, танцев и всяческого благородства. Поэтому мы ждали тенора с замиранием сердца. Я обедала в этот день у Ворониных. После обеда меня отвезли домой. Въезжая во двор, я заметила высокую мужскую фигуру, которая вошла в ворота и направилась вперед по галерее. Я сейчас же решила, что это Сабатэр, и не ошиблась. Вскоре после того, как я забралась на наш четвертый этаж и сняла верхнее платье, под которым было коричневое гимназическое платье с черным передником, в парадной раздался звонок, и Сабатэр предстал перед взорами заинтересованного семейства. Артист оказался красавцем с изящными и благородными манерами. Наружность его была очень эффектна: высокая, стройная фигура, тонкий профиль, черные глаза с мягким блеском, золотисто-смуглый цвет лица, иссиня-черные кудрявые волосы, черные усы и небольшая борода по тогдашней моде. Полная простота и отсутствие фатовства завершали приятное впечатление. Родители мои очень приветливо встретили гостя и сейчас же познакомили его со всеми членами семейства, в числе которых были гостившие у нас в то время бабушка Александра Николаевна и тетя Соня. Сестра Катя, конечно, говорила тенору, что она дочь профессора университета, но он вряд ли ей верил или же удивлялся в душе тому, как плохо воспитывают русские профессора своих дочек. Можно себе представить, как он был поражен при виде столь почтенного семейства вполне патриархального пошиба и явно дворянского происхождения – условие, конечно, очень важное для испанского идадьо, каким был он сам. Отец и мать заговорили с ним на отборном французском языке. Сам он говорил по-французски свободно, но не совсем правильно, с очень сильным, но приятным акцентом. Он хорошо говорил по-итальянски, т. к. учился петь в миланской консерватории. Все мы уселись в гостиной вокруг большого стола под лампой. Не прошло и пяти минут, как отец спросил Сабатэра: «*Et bien, etes vous republicain ou carliste?*» (Вы республиканец или карлист?). На что Сабатэр, будучи родом из Барселоны, ответил убежденным тоном и с патетическим жестом: «*Je suis republicain!*»¹⁶ В то время в Испании шла так называемая карлистская война, которая кончилась поражением Бурбона дон Карлоса и Кортесами, сменившимися самой плохой монархией, возглавляемой королем. Начался разговор о политике, в которой отец был большой дока. Он, конечно, сочувствовал республиканцам. Вскоре подали чай, и все перешли в столовую. Я не спускала глаз с интересного гостя, и сердце мое было покорено.

Сабатэр стал бывать у нас очень часто, т. к. ему у нас очень понравилось, и у него, очевидно, была потребность в семейной атмосфере. Он был отнюдь не кутила, и ему не нравились вольные нравы артистической богемы. Ну, а родители мои были люди хоть куда. Артист был, разумеется, плохо образован и мало развит, но далеко не глуп и оказался милым и вполне порядочным человеком. Видя, в какую семью он попал, он счел долгом просить руки той девушки, которая ввела его в дом. Катя сделалась его невестой, что нисколько не мешало мне обожать и его, и ее, которую я и до тех пор обожала. Ревности у меня не

¹⁶ Я республиканец! (фр.)

было: во-первых, я не имела никаких претензий на мужское внимание, а во-вторых «*c'était de l'amour avant le sexe*» (это была любовь прежде пола), как выразился Золя про героиню своего романа «Проступок аббата Мурэ», молоденькую Альбину. Итак, Сабатэр к нам, что называется, зачастил. Узнав, что мать наша играет на фортепьяно, а в доме есть романсы для пения, он стал петь под аккомпанемент фортепьяно песни Шуберта с французским текстом, знаменитую арию старинного итальянского композитора Страделлы «*Pieta, Signore*» (Умилосердись, господи) и многое другое, иногда приносил какой-нибудь нехитрый итальянский романс или красивую серенаду Фра Дьяволо из оперы Обера. Пел он прекрасно, гораздо лучше, чем в опере, что объясняется тем, что ему, певшему в других странах партии первого тенора, очень уж неинтересно было выступать в таких ролях, как жених Лючии в опере Доницетти, рыбак в «Вильгельме Телле» и пр. Скоро он подружился и с бабушкой, и с тетей Соней. Он охотно разговаривал с нашим отцом, но часто поражался его незнанием жизни и бесхитростностью и восклицал по-итальянски: «*Proprio, come un bambino!*», т. е. «Совсем, как ребенок!» А в то время отцу было под 50, а Сабатэру вдвое меньше. Весь сезон 1873-4-го года прошел под знаком Сабатэра. Общее внимание женской половины было сосредоточено на нем. Остальные молодые люди, бывавшие в доме, отошли на второй план, да оно и понятно: все они были гораздо образованнее, а иные и умнее нового знакомого, но далеко не красивы и не имели того романтического ореола, какой был у него. Не подпала его обаянию только сестра Соня, которая, как я уже говорила, была увлечена в то время другим. Старшие относились к нему очень дружески. С матерью моей Сабатэр мирно раскладывал пасьянсы. Что касается его отношения к невесте, то вскоре выяснилось, что она по характеру и манерам не в его вкусе. Она сама рассказывала, что он делал ей замечания вроде следующих: «*Voilà comme une demoiselle ne doit pas être*» (Вот какой не должна быть барышня, это не годится для барышни), «*Voyez Sophie*» (Посмотрите на Софи). Я уже упоминала о сдержанности и скромности сестры Сони, очевидно, это было более во вкусе испанца. Что именно вызывало его замечания, я не знаю, и судить об этом в то время я не могла. К сестре Асе Сабатэр относился шутливо и дружески, но довольно безразлично, а со мной обращался как с ребенком, но выказывал мне очень милое внимание. Его, очевидно, трогало мое глубокое и безмолвное обожание. Он сказал как-то про меня: «*La petite Maria beaucoup pour moi dans son petit coeur*» (Я занимаю большее место в сердечке малютки Марии). Я помню такой случай: в один из вечеров, когда Сабатэр был у нас, мать велела мне идти спать до его ухода. Я, скрепя сердце, послушалась, но, когда раздалось его пение, я начала горько плакать. Няня пробовала меня уговаривать и даже стыдить, но это не помогало. Тогда она пошла в гостиную и рассказала матери о моем поведении, после чего меня позвали в столовую, на пороге которой стоял Сабатэр, пришедший меня уговаривать. Помню, как я стояла в своем коричневом платье уже без передника, глотая слезы, а он склонился ко мне с высоты своего громадного роста и с добрым и ласковым видом говорил мне: «*Ne pleurez pas, allez dormir pour l'amour de moi*» (Не плачьте, идите спать из любви ко мне). И я успокоилась, перестала плакать, легла в постель, а он уже больше не пел в тот вечер.

В эту зиму отец поехал на Рождественские каникулы в Харьков, к своему брату Николаю Николаевичу, который был профессором химии тамошнего университета. Когда он вернулся, он был поражен тем, как глубоко было впечатление, оказываемое Сабатэром на нашу семью, считая в том числе и мое раннее увлечение, невинного характера которого он, к слову сказать, совершенно не понял и отнесся к нему очень сурово и даже строго, что было причиной того, что я, очень любя отца, никогда не была с ним откровенна. Но дело тут не во мне. Отец тут только понял, сколь легкомысленно он поступил, введя в наш дом Сабатэра и связав судьбу своей дочери с человеком из другого мира, в котором она, конечно, не могла бы чувствовать себя хорошо. Отец назвал себя старым дураком, но уже было поздно исправлять сделанную ошибку.

Сабатэр уехал из Петербурга после окончания сезона итальянской оперы. Весной Катя простудилась, у нее сделался плеврит, и она уехала лечиться в немецкий курорт Соден в сопровождении матери. Летом жених и невеста между собой переписывались. Я не знаю, что они друг другу писали, но, очевидно, в их отношениях что-то испортилось. Когда сестра Катя с матерью вернулась в Петербург, Сабатэр чуть ли не в тот же день явился к нам и под очень благовидным и благородным предлогом взял свое слово назад, объяснив это тем, что не надеется составить счастье m-11 Catherine и не считает себя, бродячего артиста, подходящим ей мужем. Пробыв у нас самое короткое время и дружески простившись со всеми, он уехал в Москву, т. к. не возобновил своего контракта в Петербурге, очевидно, с целью более не встречаться с нами, и пел этот сезон в Москве.

Таким образом, он оказался дальновиднее и мудрее моих родителей. Сколько я помню, его отказ был для всех полной неожиданностью, но ясно, что Сабатэр только из деликатности не объяснил настоящих мотивов своего разрыва с Катей. При ближайшем знакомстве она, очевидно, ему не понравилась, т. к. не была ни послушной дочерью, ни заботливой ласковой сестрой, ни скромной девицей, а он был очень молод и, конечно, не мог себе представить, что большинство недостатков поведения его невесты происходит от того, что она донельзя избалована родителями и не знает пределов своему молодому эгоизму и самомнению. Не знал он, конечно, и того, что из таких своевольных и легкомысленных девушек, как она, часто выходят впоследствии любящие жены и нежные матери. Наша Катя была именно такого типа, но многие судили о ней неверно по ее заносчивому поведению. Отказ жениха был для нее большим ударом, хотя она была так молода, что, вероятно бы, скоро утешилась, если бы по понятиям нашего времени не считала интересным во что бы то ни стало держаться за прошлое и страдать. Несмотря на некоторые романтические бредни, Катя была самая трезвая из нас, а кроме того, у нее были большие семейные наклонности.

Если бы не встреча с Сабатэром, она бы, наверно, лет в двадцать или немного позже вышла замуж за какого-нибудь профессора, литератора или земца. Как бы то ни было, с этим эпизодом было покончено.

Через несколько лет после разрыва с Катей Сабатэр опять появился в петербургской опере. Помню, как мы слушали «Гугеноты», сидя против сцены в ложе Ворониных. Сабатэр исполнял партию Таванна и, очевидно, узнал нас. В сцене освящения шпага у Сен-При он так задумался, очевидно, вспоминая то время, когда бывал у нас, что в одном месте забыл вступить со своей фразой. Насколько я помню, этот эпизод не произвел на Катю особого впечатления. К сожалению, родители столько наговорили ей об ее красоте и уме, а наивность ее была столь велика, что она вообразила, что Сабатэр был увлечен ее чарами. Ей и в голову не приходило, что он принял ее за особу легкого поведения, и она так и осталась при том убеждении, что сей prince charmant (принц-очарователь) из сказки Перро влюбился в прекрасную незнакомку и захотел соединить с ней свою судьбу. С такими мыслями она сочла себя избранницей, всех молодых людей, оказывавших ей внимание, считала недостойными себя и вела себя с ними так высокомерно и насмешливо, что ее считали неприступной и гордой, а иногда внезапно огорошивали, наговорив ей дерзостей и упрекнув в ужасном самомнении и неприятном характере. За ней, конечно, ухаживали, потому что она была интересная, кокетливая и довольно хорошенькая девушка, но только один поклонник решился сделать ей предложение, когда ей было уже за 20 лет. Она, разумеется, ему отказала, хотя это был очень достойный и довольно красивый молодой человек, который ей, в сущности, нравился. Кто знает? Может быть, она была бы с ним счастлива и уж наверно не умерла бы так рано. Я хорошо помню, что в 22 года Катя была очень весела и оживлена, хотя все еще считала себя влюбленной в Сабатэра. Она находила интересными многих студентов, которые бывали у нас на субботах в ректорском доме, но эти-то более интересные как раз и ухаживали или за ее сестрами, или за их подругами, а на нее мало обращали внимания. Это действовало ей

на самолюбие, она озлобилась, пробовала отбивать поклонников у других барышень, но из этого ничего не выходило, и кончилось тем, что она рано увяла и приобрела черты неприятной старой девы, завидующей молодым и мечтающей о муже. Около 30-и лет она пережила еще один роман, очень интересный, но тоже неудачный. Она встретила на журфиксе у художника Лемоха, куда ввела ее Анна Ивановна Менделеева, в числе других передвижников, собиравшихся там каждую неделю, уже немолодого, но в высшей степени интересного художника Мясоедова¹⁷. Ему было в то время, как он сам выражался, «между пятьюдесятью и шестьюдесятью». Лицо у него было некрасивое, но значительное, фигура высокая и очень мужественная. Это был тип самого заправского Дон Жуана. Будучи единственным по-настоящему образованным и интеллигентным из передвижников, он был к тому еще очень умен и остроумен. Катя ему понравилась, а сама она сразу и очень сильно в него влюбилась. Между прочим, ее заинтересовало то, что художник был в Испании и знал испанский язык, которому выучилась самоучкой и Катя после разрыва с Сабатэром. Мясоедов говорил с ней по-испански во время журфиксов, и это ее очень волновало и придавало их отношениям какую-то особую интимность. Роман этот длился два года. Изредка Мясоедов бывал у нас в доме, но главным образом Катя виделась с ним у Лемохов. Мясоедов был женат, но давно уже разошелся с женой. Он настолько увлекся Катей, что даже сказал ей как-то: «Да вы, пожалуй, доведете меня до того, что я разведусь и женюсь на вас». Не знаю, чем бы кончился этот роман, если бы не вмешалась в него некая старая дева, которая тоже влюблена была в Мясоедова и, заметив его увлечение сестрой моей Катей, наклеветала ему на нее с таким успехом, что совершенно испортила их отношения. Кате пришлось прекратить знакомство с художником. Она была очень несчастна, т. к. на этот раз чувство ее было серьезно. Этот эпизод ее жизни имел на нее хорошее влияние: она стала не так самоуверенна, более серьезна и более участлива. К сожалению, успехи сестры Александры Андреевны вызывали в ней зависть и портили их отношения. Со мной отношения были бы совсем хорошие, если бы она не ревновала меня к той же сестре, которую я заметно и не скрывая этого предпочитала ей. Катя потеряла всякую надежду на личное счастье. Чтобы немного развеяться, она воспользовалась тем случаем, что мы с сестрой Асей и с маленьким Сашей Блоком в сопровождении матери уехали за границу, и приехала к нам во Флоренцию на смену матери, которая уехала в Россию к мужу. В зиму, последовавшую за этой поездкой, сестра Катя уже справилась со своим горем. Она зарабатывала довольно много денег переводами, рассказами и стихами, которые писала на заказ, сотрудничая в «Огоньке» и в модном журнале «Вестник моды», который издавался с литературным оттенком. Большую часть своего заработка Катя тратила на свои костюмы, она всегда была хорошо одета и имела изящный облик. В ту зиму она часто бывала в доме нашего хорошего знакомого доктора Головина, где у нее были поклонники, но не женихи среди стареющих холостяков. Издатель «Вестника моды» Альверт тоже за ней ухаживал, а в числе поклонников в доме Головина был известный драматург Виктор Крылов¹⁸. Обо всех своих удачах и неудачах Катя рассказывала нам с сестрой Алей (сестра Софа была уже замужем). Слушая эти рассказы, сестра Аля, к которой вернулась ее веселость, утраченная во время брака с Александром Львовичем Блоком, придумала коллективное и, так сказать, синтетическое название для поклонников сестры и называла их «Катины Крыловерты». Все эти истории ободрили Катю. Она с большим юмором рассказывала о своих поклонниках и даже не прочь была бы за кого-нибудь из них выйти замуж, т. к. ей хотелось, как она характерно для себя выражалась, «иметь свой дом и свою посуду». Однако из всего

¹⁷ Кирилл (Карл) Викентьевич *Лемох* (1841–1910) – известный художник-передвижник; *Анна Ивановна Менделеева* (урожд. Попова, 1860–1942) дилетантски занималась живописью, поддерживала дружеские связи с передвижниками (ее мемуары о Блоке: *Воспоминания*, т. 1); Григорий Григорьевич *Мясоедов* (1835–1911) – известный художник-передвижник. См.: Г. Г. Мясоедов. Письма, документы, воспоминания. М., 1972.

¹⁸ *Виктор Александрович Крылов* (1838–1906).

этого не вышло ничего, кроме приятного времяпрепровождения. Годы шли. Катя сделалась уже настоящей старой девой, т. к. ей было уже за 30, как вдруг ею не на шутку увлекся совсем молодой человек, брат любимого ученика моего отца – ботаника и географа А. Н. Краснова, Платон Николаевич. Между им и Катей было 11 лет разницы. Тем не менее, этот юноша был сильно в нее влюблен. Тут пошли разговоры, прогулки, цветы, конфеты и пр... Сначала сестра только тешилась, но потом и сама увлеклась, и роман этот кончился браком. Катя была очень счастлива, но жестокая болезнь почек, которая началась у нее еще до брака и сильно развилась вследствие неверного диагноза и неправильного лечения, еще усилилась во время ее беременности.

Екатерина Андреевна была замужем год с небольшим и умерла от эклампсии, после того как доктора, надеясь спасти ее, произвели ей аборт. Так кончилась в 37 лет ее короткая, но довольно яркая жизнь. Бедная сестра моя, страстно любившая детей, так и не дождалась счастья иметь ребенка.

Глава IV

Шахматовский обиход

В первый день по приезде мы устраивались на летнее житье. Прежде всего разбирали горбатый серый сундук, в котором помещалась большая часть нашего добра, привезенного из Петербурга. У отца был свой кожаный чемодан в виде гармоники, в который он клал свое белье, несколько книг, мелочи и зеленые коробки крепчайших папирос фабрики Лафери, которые он курил в изрядном количестве. У матери был маленький сундучок, обитый черной клеенкой, очень удобный и легкий, в который она клала то, что не помещалось в серый сундук. Убрав вещи по комодам, прилаживали занавески и развешивали на гвоздиках наши скромные платья и крахмальные юбки, прикрывая их ситцевой или коленкоровой завесой. Старшая сестра Катя всегда убирала свой туалетный столик под зеркалом белой кисеей с двумя оборками по верхнему и нижнему краю, красиво расставляла разные мелочи вроде духов, пудреницы, вазочек и т. д. Она же вешала на стенах пестрые бумажные веера, раскладывала на столах и полках книги, делала букеты и проч. Все это она проделывала с большим азартом и тщанием, между тем как мечтательная и более ленивая Соня ограничивалась только самыми необходимыми заботами по уборке своих вещей. То же самое в миниатюре проделывали и мы с Асей, так как вещей у нас было гораздо меньше. В промежутках между едой и уборкой мы, конечно, гуляли, рвали цветы, любовались желтенькими утятами и цыплятами, знакомились с дворовыми собаками и т. д.

Надо сказать, что наша обстановка и костюмы были в то время очень скромными, хотя городская мебель заказывалась у хороших столяров. Зато книг было много: всегда подписывались на один или два русских журнала и на «*Revue des deux mondes*», отец выписывал еще разные научные журналы, по большей части немецкие. У него была, конечно, целая библиотека научных книг на четырех языках. Литературная библиотека, далеко не полная, состояла из русских классиков в стихах и в прозе. Со временем она пополнялась. Был еще гетевский «*Фауст*» и Шекспир в русских переводах, в оригиналах были: полный Шиллер, «*Фауст*», «*Книга песен*» Гейне, почти все романы и пьесы В. Гюго, два лучших романа Дюма-сына и пьесы Альфреда Мюссе. Всего не упомнишь. Повторяю: книг было много, большая часть книг оставалась обыкновенно в городе, но в Шахматово всегда привозился Шекспир и Пушкин, увозимые в город обратно. Постепенно в Шахматове накопилась небольшая библиотека из старых журналов («*Вестник Европы*», «*Вестник иностранной литературы*», «*Отечественные записки*», «*Северный вестник*», «*Revue des deux mondes*» и др.), дублетов классиков, литературных сборников и бледно-желтых томов Таухница¹⁹, последнее, т. е. английские романы, очень любили читать старшие сестры и мать. Все это ставилось в разных комнатах на примитивных полках, так как книжных шкафов в Шахматове не было. Привозились также кое-какие ноты. В городе у матери была целая этажерка: сонаты Бетховена, Гайдна и Моцарта, многие песни Шуберта для пения, ноктюрны, вальсы и баллады Шопена, «*Песня без слов*» Мендельсона и оперы в фортепьянных переложениях, большею частью итальянские, в том числе «*Дон Жуан*» Моцарта и «*Фауст*» Гуно. Кроме этого, были еще три объемистые рукописные тетради, в которых мать еще в молодые годы, когда у нее не было денег на ноты, переписывала своим на редкость четким и твердым почерком отдельные сонаты Бетховена, многие отрывки из оперы Мейербера «*Роберт-Дьявол*» и других опер, всего шумановского «*Манфреда*» для четырех рук, множество старинных романсов, вальсов и других пьес. В одной из этих книг в красном переплете были и печатные ноты: романсы Варламова,

¹⁹ Таухниц – немецкая издательская фирма, выпускавшая многочисленные романы на английском языке.

Гурилева и др., «Le feu»²⁰ Калькбреннера и какие-то допотопные пьесы Бейера и др. забытых и незначительных немцев, а также «Аделаида» Бетховена для пения. Все это, увы, погибло вместе со всем, что было в шахматовском доме.

Перехожу от духовных ценностей к другой стороне шахматовского быта. Для этого прежде всего надо описать нашу кладовую. Она занимала не много места, приблизительно 3 кв. аршина. По стенам были полки, на которых размещались ящики с провизией: с разными крупами, пряностями и т. д. На всех были надписи. Весной их сушили на солнце, расставив на балконе. Для белой муки и сахарного песку были заказаны особые ящики. Крупитчатая мука покупалась целыми мешками, пудов по 5, сахарный песок пудами, так как кроме сладких блюд он был нужен и для варенья. Сахар для чая и кофе покупался целыми головами, и мать колола его по большей части собственноручно с помощью особого прибора с тяжелым ножом, ходившим на шарнире и прикрепленным к низкому ящику. Чай и кофе всегда привозили из Петербурга, остальную провизию брали на станции или выписывали из Москвы. На верхней полке стояла до половины лета целая батарея больших и маленьких банок, которые в свое время наполнялись вареньем. Из Петербурга привозилось также лучшее прованское масло для салата и несколько бутылок вина, то и другое ставилось в подвал, куда спускались, подняв за кольцо квадратную доску, приспособленную в полу кладовой. На гвоздях висели безмены: один большой на пуд весу, другой маленький на 25 фунтов. На одной из полок лежала поваренная книга знаменитой Елены Молоховец, оказавшая неоцененные услуги не одному поколению хозяек.

Кладовая запиралась на висячий замок, сестра Катя сама выдавала провизию и заказывала обеды и завтраки, придумать которые при малом разнообразии деревенской провизии, особенно до сезона ягод и овощей, было очень трудно, так как отец требовал, чтобы кушанья были всякий день разные, и имел довольно-таки капризный вкус. Он редко отказывался от подаваемых блюд, но часто поражал самолюбие хозяйки беспощадной критикой или замечаниями вроде следующих: «Разве это вафли?» или: «Какие же это ватрушки?» При этом частенько припоминал он незабвенного Данилу, крепостного повара, который был специалистом по тестяным блюдам в доме его покойного отца. Случалось, что, еще не отведав кушанья, он уже говорил с сомнительным видом: «Это, кажется, что-то несъедобное?» – «Да ты прежде попробуй», – замечала ему жена довольно язвительным тоном, после чего он принимался есть и весело объявлял: «Ах, нет, это очень недурно!» Надо сказать, что все эти капризы отец с лихвой возмещал своей ласковостью и веселостью.

Во время еды разговор был общий и очень оживленный. Говорили о разном: о домашних делах, о политике, о литературе. Мы с сестрой Асей вспоминали подруг и учителей. О политике говорили главным образом отец и сестра Катя, которая интересовалась только иностранной политикой и уже в ранней юности с азартом читала газеты. Во время франко-прусской войны, когда все мы сочувствовали французам, она знала наперечет всех парламентских деятелей, покупала портреты Гамбетты, Жюль Фавра и Тьера²¹, но в особенности обожала Рошфора: знала подробности о его семейной жизни, читала издаваемый им журнал «Lanterne»²² и т. д. Мне было в то время около 10 лет, сама я не читала газет и к политике относилась равнодушно, но отлично помню тогдашнее настроение старших: к императору Вильгельму относились с насмешкой. Бисмарк уважали (был и его портрет), но мать его яростно ненавидела. В 1875 году были другие волнения: все более или менее

²⁰ «Огонь» (фр.).

²¹ Леон Гамбетта (1838–1882) – премьер-министр и министр иностранных дел Франции в 1881–1882, во время франко-прусской войны – член Правительства национальной обороны; Жюль Фавр (1809–1880) – вице-председатель и министр иностранных дел в Правительстве национальной обороны, министр иностранных дел в правительстве Тьера; Адольф Тьер (1797–1877) – глава исполнительной власти во Франции с февраля 1871 г.

²² «Фонарь» (фр.).

интересовались восточным вопросом и ждали войны <...> «турецкие зверства» всех ужасали, и стояли за то, чтобы вступить за славянское дело. Но главным образом говорили за общим столом о литературе. Тут было царство матери. Но и дочери не отставали от нее, перебрасываясь цитатами из Гоголя, Пушкина, Шекспира и проч.

Шахматовский день распределялся так же, как и в городе: утренний чай, завтрак в час дня, обед в 6 и вечерний чай около 10-ти, ужина не было. Сходясь за столом по утрам, все целовались между собой и с родителями, причем мы говорили им «ты» и целовали руку только у матери. Отец этого не допускал и никогда не позволял оказывать ему мелкие услуги вроде приношения спичек, носового платка и проч. Отношения наши с родителями были весьма непринужденные, но мы никогда не выказывали им неуважения и не были с ними ни дерзки, ни грубы, это делалось само собой. Таков был дух нашего дома.

К утреннему чаю все приходили в разное время, но пили чай не больше, чем в два приема. Всех раньше вставала мать, она успевала до чая и погулять, и пошить, и почитать. Часам к 9-ти приходил отец и мы с сестрой Асей. Мы с ней иногда запаздывали, потому что слишком увлекались глазением в окно и болтовней, которую не прекращали ни на минуту. В то время сестру Асю стали звать Алей, а меня Муля или Маля. Отец любил подчеркивать нашу неразлучную дружбу, в знак чего и звал нас вместе Муль-Аль, а в третьем лице Муль-Али. Сестру Катю называли попросту Ка, а Сонино имя переделали на английский лад и стали звать ее Софа (по-английски говорят Софайя). Это шло к ее очень сдержанной, несколько чопорной манере, английским локонам и пристрастию ко всему английскому. Старшие сестры вставали позже нас с Алей и долго одевались. У них были прически, требовавшие известного времени, и более изысканные костюмы, чем у нас с Алей. Мы с ней заплетали себе две косы и одевались как-то очень примитивно, еще не ведая искусных портных и женских изощрений.

За чайным столом, покрытым белой скатертью, сидела на верхнем конце мать, облаченная в широкий капот из светлого ситца, с черной кружевной наколкой на голове, и разливала чай из большого самовара желтой меди, который был хорошо вычищен, но не отличался изяществом. На столе были домашние булки, свежее сливочное масло и сливки. Булки обычно пеклись совсем постные, без молока, а время от времени бывали еще круглые сдобные булочки с изюмом и кардамоном, которые поспевали обыкновенно к вечернему чаю. Молока с утра не подавали, его любила только мать и пила в другое время. Отец пил чай из особой чашки – очень крепкий и сладкий, с ложечкой домашнего варенья из черной смородины, которое подавалось в маленькой расписной посудине, привезенной из Троице-Сергиевской Лавры. Там фабриковали из какой-то особой глины чрезвычайно уютную и милую посуду с крышечками, отличавшуюся разнообразием окраски и формы. Остальные члены семьи пили чай со сливками в одинаковых чашках веселого вида.

За завтраком в первые годы шахматовского жития, когда сестра Катя была еще неопытная хозяйка, бывало немного голодно. Иногда он пополнялся простоквашей, причем отец с самого начала объявил: «Не для меня квашня простая», – и отказался от нее наотрез. Остальные простоквашу любили. Отец же признавал только самый свежий творог с густыми сливками и сахаром. Когда поспевали ягоды, иногда подавали к завтраку землянику и лесную малину. По воскресеньям всегда был пирог или большие подовые пироги кислого теста, жаренные в жиру или в масле. Иногда подавали за завтраком блинчатые пироги с рисом и изюмом и подливой из сладкого молочного соуса.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.